

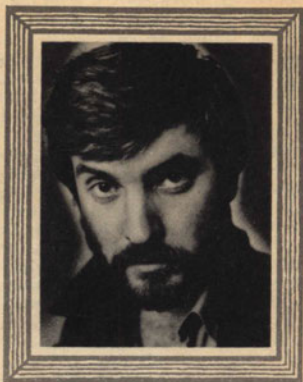
Сергей
МАРКОВ

КАРТОШИНЫ И ДОМИК

И тут же человек восемь вскочили,
но моя «эфка» разметала их,
на скале над нами повис обрывок
белой чалмы. Мы поняли, что нас
окружили «черные ансты» —
пакистанский отряд специального
назначения, коммандос.



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1990



Сергей Марков родился в 1954 году. Служил в армии. Окончил Московский университет.

Автор книг «Яблочные семечки», «Мечтаю быть...», «Теперь во мне спокойствие и счастье», «Якутские были», «Надписи». По сценариям С. Маркова сняты фильмы: «Призываюсь весной», «Взошла и выросла свобода», «Чаша терпения».

Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.



Сергей
МАРКОВ

КАРТОШНИЙ
ПАГЛУЧНЫЙ
ДОМИК

Повесть
и рассказы



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1990

ББК 84Р7—4
М26

Марков С. А.
М26 **Карточный домик.**— М.: Моск. рабочий,
1990.— 14 с.

В книгу московского прозаика Сергея Маркова вошли повесть «Карточный домик» и рассказы.

Трагедия вернувшихся на Родину «афганцев», неспособность некоторой части общества понять этих людей, беспощадная правда о войне — основная тема книги.

М $\frac{4702010201-025}{M172(03)-90}$ 130—90

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—01013—7

© Сергей Марков, 1990

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

1

«Горь-ко! Горь-ко! Со светлой вершины дано вам отныне в бескрайние дали взглянуть! Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений! Добра вам и света!» — «А я желаю черной жизни молодым! Пусть квартира будет с хрусталем на черном бархате! Пусть ложками едят черную икру! И пускай ездят только на черной «Волге»!» — «Ура! Горь-ко! Горь-ко!..»

Прошло часа полтора, а ночь упрямо не наступала. Видны были под сизым, бирюзовым в оранжевых перьях на западе небом вспаханные, взбухшие от дождей зеленоватые поля до горизонта, прозрачные леса, поблескивала темная вода в колеях извилистых горбатых проселков. Я стоял в тамбуре, прижавшись лбом к холодному дребезжающему стеклу, а колеса словно отпечатывали сказанное нам полдня назад во Дворце бракосочетаний: «У вас есть мо-ло-дость о-ба-я-ние лю-бовь и чис-тое мир-ное не-бо но счастье-е са-мо по се-бе не да-ет-ся в сов-мест-ной жиз-ни про-яв-ляй-те доб-ро-ту и рас-су-ди-тель-ность не об-ра-щай-те внимания на ме-ло-чи соз-да-вай-те проч-ную со-вет-скую семью чем креп-че семья тем проч-нее на-ше об-щество тем бли-же мы к ком-му-низ-му». «Вот до тех домиков,— хитрил я,— и пойду в вагон. До сосны. До озера. До переезда». Но не уходил, потому что хорошо было стоять одному в прохладном тамбуре. Въехали на мост, и захотелось крикнуть что-нибудь, как там, под нашими сверхзвуковыми бомбардировщиками, от которых дрожат горы, или на броне, в грохоте и лязге, или в тиши — в барханах на привале после боевой операции, когда, казалось, ложку от усталости до рта не донесешь и шея голову не держит, точно у младенца, мы начинали вопить в дюжину луженых, охрип-

лых, облепленных пылью глоток, колотить по котелкам, каскам, камням, и Миша или Шухрат поднимались, за ними Валера Самойлов, потом Резо и постепенно, но быстрее, быстрее раскручивали, заводили лезгинку, или гопака, или какой-нибудь танец аборигенов острова Фиджи, и усидеть никто не мог, разве уж совсем сынки, салаги — даже взводный усидеть не мог порой.

— Ты шизо, тебе лечиться надо, а не жениться! — услышал я сзади Олин голос и понял, что не удержался, в самом деле заорал под грохот колес по мосту. — Ты что?

— Так как-то вырвалось. Извини.

— Да, муженек... Ты меня все больше пугаешь. Пошли-ка в вагон.

Взяв в купе полотенце и зубную щетку, Оля ушла умываться. Я ждал ее в коридоре. Вспомнился тот солнечный день в начале марта, когда мы подали заявление в загс. Мы должны были встретиться в двенадцать, но в половине первого ее еще не было. Я бродил вокруг памятника Тимирязеву и, не зная, откуда она придет, смотрел то налево, на улицу Герцена, то на скверик перед церковью, в которой венчался Пушкин, то на бульвар и думал о том, что три года еще не прошло с выпускного вечера, когда мы проходили всем классом здесь, у Никитских, к Красной площади, но это больше тысячи дней и ночей, уж не говоря про часы, минуты и секунды, а закрыть глаза, зажмурить посильней — и не было этих трех лет. Опоздав на час с лишним, она приехала на такси. «Извини», — сказала. Районный загс был закрыт на ремонт. На метро мы поехали во Дворец на Ленинградский проспект, где кафе «Аист». Нам выдали бланк. Заполняла его Оля, потому что меня и в школе ругали за почерк, а теперь он стал совсем корявым. «Желая по взаимному согласию вступить в брак», — прочитала она тихонько вслух, — просим его зарегистрировать в установленном законом порядке. После регистрации брака желаем — носить общую фамилию мужа или жены или остаться при добрачных фамилиях». Оля посмотрела на меня. Я пожал плечами — она обиделась. «Так тебе, значит, безразлично, какая у меня будет фамилия?» — «Возьми мою, если хочешь». — «Нет уж. Раз так, я останусь с папиной». Я согласился. Потому что очень она любила

своего отца, очень много он для нее значил. Я хорошо помню его лицо в ту минуту, когда он узнал, что мы решили пожениться. «Вот оно что...— Семен Васильевич посмотрел на меня, будто впервые увидел.— Ну, что ж... если сами, без родителей решили...» А позднее, когда опустели тарелки с закуской и бутылка, одутловатое, набрякшее лицо Семена Васильевича сделалось свекольного цвета, он вывел меня на лестничную площадку покурить и там сказал трескучим своим голосом, астматически дыша: «Ты пойми, Оля — все для меня». — «Да, я понимаю», — ответил я. «Ни черта ты не понимаешь. Но когда-нибудь поймешь. Ладно. Ты вот что скажи: почему орден свой не носишь?» — «А у меня его нет», — сказал я. «То есть как — нет? А дочка мне сказала... Э, брат...» Я хотел объяснить, что орденом я награжден, но еще его не вручили, так чаще всего и бывает, ордена приходят позже, так и у Павла Владычина было, и у многих... Но после его «Э, брат...» ничего объяснять не стал. Да и при чем тут? Есть у меня орден, нет — неужели он, фронтовик, не знает, что у каптера порой больше орденов и медалей, потому что с офицерами дружен, чем у кого бы то ни было? Впрочем, может быть, и знал когда-то: лучших ребят чаще пуля находит, чем ордена... Знал — но забыл. И он долго еще рассуждал на лестничной площадке об орденах, о всяческих наградах, о том, что ничего от человека не остается в конце концов, а награды остаются, внук или правнук возьмет их в розовенькие пухлые свои ручонки, чтобы поиграться, — и вспомнит, память крови заговорит. Я не знал, что такое память крови. Но я знал нашего взводного, у которого никаких наград не было, потому что он любого начальника мог послать. И внуков уже не будет. «Награда, это ж, понимаешь... Значит, даром жизнь прожил, понимаешь! Ну а самому-то пришлось пострелять? Да что ты в лице меняешься, верю, есть у тебя орден. Но орден-то ордену рознь — вот в чем загвоздка, как говорят. Ладно, чего уж... — махнул рукой Семен Васильевич. — Вы-то что могли?»

...Назначили свадьбу на седьмое мая. Оля сказала, что не хочет всю жизнь маяться. «Нельзя ли на конец апреля?» — «Все занято». — «А на июнь?» — «На июнь еще рано, приходите через месяц». — «Ладно, — махнула рукой Оля. — Маяться так маяться». Купив бутылку

вина, мы поехали к Павлу Владычину. Он спал, соседн его разбудили. Прихрамывая, в тельнике и широценных штанах, со всклокоченной гривой, Павел вышел в коридор. Я сказал, что мы подали заявление. Он не поверил спросонья, но Оля подтвердила, и Павел, кивнув нам в сторону своей комнаты, отправился на кухню. Принес сыр и колбасу, банку скумбрии в томате, конфеты. Сели. Я разлил. Яркое мартовское солнце светило в окно и пронизывало бутылку с вином и стаканы. Блестела дверца платяного шкафа. «Тогда уж надо бы...— сказал Павел, но не договорил. Встал, принес четвертый стакан. Наполнил его до краев, сверху положил кусок хлеба.— Давайте,— сказал он.— За вас». Не успели мы выпить, как пришел брат Павла, Гарик, а вслед за ним трое «афганцев» — Толик, Саня и Виктор; Павел служил с ними в ДШБ — десантно-штурмовом батальоне, а я застал лишь Виктора Гармаша, но вскоре он дембельнулся. «Афганцы» тоже принесли с собой выпивку — и понеслась: «За тех... Зеленые левой взяли, а мы зашкалили и прямо на «духов» головной дозор — полоснули они по нам с Толиком, мы за дувал перевалились и оттуда «эфками»... Давайте, ладно, мужики, девушке тоска все это слушать! За женщин предлагаю стоя!.. Не, я точно слышал, летом выводить будут... А с Васькой Александровым что, не слышал никто? В Ташкенте в госпитале — эрэсом обе ноги. Выше колен. Ну, за ребят! Не чокаются! Мы как за живых... Коль, значит ты не шутишь, гулять на свадьбе будем в мае? Какие шутки...» — «Хотите погадаю?» — в разгар предложил нам непьющий Гарик. «Хотим!» — обрадовалась Оля. Мы отошли в угол комнаты и сели вокруг сундука, заменяющего журнальный столик. Но едва лишь Гарик достал колоду, Павел, вынырнув из спора, сказал: «Вы имейте в виду: у Гарика шулерские карты. Я вам не советую». Мы послушались, хотя Оля уже настроилась — она любила, когда ей гадают. Гарик на брата не обиделся, потому что вообще не умеет обижаться. Стал показывать фокусы, а Оля тем временем строила на сундуке карточный домик, он получился очень красивый. Но только она отвернулась — домик рухнул. «Я же говорил,— заметил с улыбкой Павел.— Слишком много эти карты врани на своем веку». На кухне Оля все-таки попросила Гарика погадать — и

он нагадал, что будем мы жить долго и умрем в один день, как в сказке. И еще многое нагадал, и все было более или менее хорошо. Оля верила.

Потом, как всегда у Павла в Слободе, уходили и приходили, и приносили с собой и приводили, и выяснялись отношения, звенела расстроенная гитара, басы, хрипел магнитофон: «Вот мы и встали в крестах да в нашивках в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка, смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы — ни к чему!..» Когда кто-то привел с улицы или из соседнего ресторана девочек и вскоре равномерно, словно двуручной пилой бревно пилили, заскрипела за перегородкой раскладушка, мы с Олей вышли и по черной лестнице поднялись на крышу. Видна была в зеленовато-палевых мартовских сумерках вся старая Москва и излучина Москвы-реки. Мы сели на гребень, обнялись. Тепло от ее бедра проникало в меня сквозь материю, бродило во мне, как вино, и пьянило, и не верилось снова, что это я, которого могло — должно бы, по теории вероятности, хоть и мало что в этой теории я понимаю — не быть, это я, по крайней мере раза три-четыре уже ни на что не надевавшийся, я обнимаю ее, любимую свою, невесту. «И часто к вам на мальчишники такие девочки заходят?» — спросила Оля. «Витька». — «Он ужасный... Крикливый. Он шлюх привел? Я думала, Павел твой». — «Нет, Витька. Говорит, пока жив, буду все, что шевелится... за тех, кто там остался навсегда». — «Какой-то бред! А он там был вообще? На самом деле воевал?» — «Конечно. Ранен был. Медалью «За отвагу» награжден. И мечтает туда вернуться». — «Вернуться?» — «Ему кажется, что там была жизнь. А здесь лишь подобие». — «И тебе так кажется?» Я не ответил. «Ты меня пугаешь. Но ты совсем не такой, как этот Виктор. Какой-то он... — она не договорила, захохотали по железу шаги, и появился Виктор. Нас он не заметил. — Легок на помине — хороший человек», — прошептала Оля, прижимаясь ко мне. Виктор закурил. Отхаркался. Расстегнул молнию и, шатаясь, стал мочиться с крыши. Я хотел его окликнуть, но сообразил, что хуже будет, если он обернется. Оля, зажмурившись, ждала. И я ждал...

«Гляди, сынок! — сказал Виктор. — Слышь, сын долбаный, смотри сюда!..» Женщина вскрикнула, и я,

стоявший с автоматом на посту, верней, на стреме, против воли обернулся. Двое «дедушек» уже отдыхали, развалиясь в тени дувала, трое ждали своей очереди, молча глядя, как Виктор, взяв стоящую на коленях женщину за волосы, заставляет ее делать непотребное. «Тоже хочется, сын? — Глаза Виктора были похожи на глаза кобеля при случке. — Вот послужишь с наше, поймешь службу... Давай, сука, не спи!» — Он хлопнул женщину ладонью по затылку — десантники рассмеялись, один из них не выдержал, пристроился сзади, задрав плаття. Потом ее положили на живот, потом перевернули на спину — она не сопротивлялась, скорее наоборот, но глядела лишь в небо, точно искала там что-то. «Подмахивает, мужики! Бабы они все бабы. Что это из нее течет?! Молоко... Витек, ты ребенка-то куда дел?» — «Не видел я никакого ребенка, отвали. Будешь еще?..» — «Пора соскакивать отсюда!» До темноты она тащилась за нами, измученная, в рваном тряпье, по барханам и горам. Один из десантников объяснил мне, что в родном кишлаке ей после этого уже не жить и она надеется, что кто-нибудь из нас возьмет ее в жены. «А что, сын, — говорил мне Виктор, автомат и рюкзак которого я ташил. — Не женить ли тебя на ней? Обрезание тебе сделаем. Свадьбу сыграем, напьемся. А после дембеля в Москву ее забереешь. Вот такая жена будет». — «Ей ты понравился, — сказал я. — С медалью». — «Молчать, козел!» — взбеленился Виктор. Но женщина, девочка еще, и в самом деле льнула к Виктору, на привале играла, точно побрякушкой, блестящей его медалью, бормоча что-то и улыбаясь. Виктор еще раз поставил ее на четвереньки, а потом, застегнув штаны, увел куда-то в сторону, в темноту. Выстрел я слышал уже сквозь сон — я не спал до этого двое суток. Все было в первые недели службы как в тумане...

Виктор уходить не думал. Что-то в окнах напротив привлекло его внимание, он перегнулся через ограждение и смотрел, а потом как заорет в колодезь двора: «Эй, козлы! Мы кровь проливали, а вы совокуплялись тут!» — «Заткнись, Витька!» — сказал я. «Молчи, саалабон! — отрубил он и продолжал вопить надрывно на всю Москву: — Вы бакшишев, гостинцев к Первому мая не получали, паскуды! Под «градом» не бегали! В танке, суки, не горели!.. До той крыши допрыг-

нешь? — сказал мне. — Мажем на литруху!» Оля с усмешкой и с вызовом взглянула на меня. «Мажем», — сказал я, поднимаясь. «Спорьте, — сказала Оля. — И прыгайте. Желательно, сразу головой вниз. А я пошла». — «Подожди». — «Нет, нет. Держи пари». — «Разбей», — попросил ее Виктор. — На литр белого». — «Сколько угодно, — она разбила наши руки. — Прыгай», — сказала мне. «Ты не уходи». — «Хочешь, чтобы я видела?» — «Жених и невеста, тля! — не выдержал Виктор. — Я невест не держу — гони за литрухой, Колян!» Крыша противоположного дома была немного ниже. Жесть по краю заржавела, скорчилась, кое-где порвалась и не выдержала бы человека, так что прыгать надо было дальше, к решетке. «Кончай, Витек, дуру валять», — сказал я, но он лишь отмахнулся и стал карабкаться на гребень. «Не прыгнет, — Оля улыбалась. — Он не сумасшедший». А я знал, что прыгнуть он мог, надо было схватить его, увести вниз и пить — но я сидел рядом с Олей неподвижно, боясь сознаться себе в том, что хочу, чтобы Виктор прыгнул и сорвался, потому что слишком много в нем было того, что делало всех нас братьями-близнецами, испугавшимися в кипящем котле с кровью, и смерть его (надеялся я тогда, но открываюсь — а если не хватит мужества открыться, то вообще не имеет смысла писать, все будет враньем — только теперь, спустя годы, когда всем уже почти все с нами ясно), смерть его дала бы шанс жить мне, жить нам. Он побежал вниз, оттолкнулся, но ухватился в последний момент за сломанный поручень пожарной лестницы и жалко, некрасиво повис, раскачиваясь над двором-колодцем. Я вытянул его. Минут пять он, абсолютно белый, молча сидел между нами, его колотило, мы его старались успокоить. Захныкал как-то по-детски или по-стариковски, слезы полились. «Уйди», — шепнула мне Оля. Я отошел, сел за трубой, а она положила его голову к себе на колени и стала гладить, что-то нашептывая, а меня она никогда по голове не гладила, и я не выдержал, вышел. Виктор бросился на меня, как раненый медведь, мы сцепились, покатались по крыше и оказались бы внизу на асфальте, обнявшись, как братья, если бы не вывалила вся компания и нас не разняли. Поздно вечером на улице Горького у телеграфа Витька схватил сзади за косу безобидного хипаря или металлиста и

шелкнул по затылку, тот завизжал, выскочили из подворотни его волосатые оборванные дружки в заклепках и цепях — в 108-е отделение милиции на Пушкинскую мы пришли вскоре после того, как на патрульной машине туда привезли Виктора. Он и в отделении орал, брызжа слюной, размахивал руками, тельняшку на груди рвал, его скрутили и затолкали в камеру, а нас слушать не стали. Вышел он через полмесяца осунувшийся, утихомиранный, сказал, что на все забил и всех в гробу видал. Из семнадцати моих знакомых москвичей-«афганцев» уже троих посадили. Один милиционеров измордовал на день десантника, другой комсомольского секретаря вместе с креслом из кабинета вышвырнул, третий повара в столовой у себя на заводе окунул головой в щи. Ребята, мол, интернациональный долг выполняли, говорили адвокаты, нервы и тэ дэ и тэ пэ — не помогало. Закон у нас один для всех, твердили судьи.

2

...Она появилась в коридоре вагона, пахнувшая земляничным мылом и зубной пастой. Я обнял ее за талию.

— Пусти. Пусти, слышишь?

По густой черноте за окном бежали матовые приглушенные светильники и хромированные ручки дверей купе. Мерно стучали колеса на стыках рельсов. И мне ничего в жизни больше не нужно было, только стоять вот так с Олей, прижавшись друг к другу.

— Пусти, я спать хочу.

В купе было темно. Позвякивали на столе стаканы в подстаканниках, белела в развернутой газете яичная скорлупа.

— Полезай к себе,— прошептала Оля.

Я забрался на верхнюю полку, а она стала раздеваться. Я слышал, как шуршали, потрескивая, ее водолазка, колготки. Когда она улеглась, я наклонился и посмотрел — глаза ее были уже закрыты.

— Спокойной ночи.

— Спокойной но-чи,— ответили мне ее засыпающие губы.

Я лежал одетый при свете ночника, и смотрел в по-

толок с дырочками, с какой-то ручкой, и думал о том, что означают надписи: «закрыто» — «открыто». Потом я стал думать о нашем поезде. Представил, как он идет ночью под звездным небом, а вокруг голые весенние поля и леса, и дома, в которых спят люди, и всем что-то снится. Когда я был там и когда только вернулся, я уверен был, что снится теперь мне будет одно и то же. И вот прошло почти полгода, но еще ни разу не приснилось ничего. Нет, сны, конечно, бывали — про детство, про школу, как сдавал экзамен по химии и как прыгал первый раз с парашютом в девятом классе. Но не было снов, которых ждал, и это ожидание выматывало. Иногда по ночам казалось, что видел я все, что было там, в кино. Или слышал от кого-то. Может быть, от ребят в военкомате, от Павла Владычина, когда в самом начале, только я приехал в часть, мы сидели с ним после ужина в курилке и он рассказывал. Светились окна палаток, кто-то чистил рядом сапоги, смеялись на соседней скамейке, подметали у входа в столовую, а в горах, силуэты которых едва угадывались, жужжал вертолет и слышны были то отрывистые, то длинные очереди. Вот тогда мне Павел и рассказал все, что потом со мной было. И взводный подошел, дополнил. Забрнчала неподалеку гитара.

Гранатовый цвет,
гранатовый цвет,
гранатовый цвет
на дороге.
И нас уже нет —
ушли мы в рассвет...

Не думал, что стук вагонных колес так похож на пулеметные очереди. К черту! При чем здесь? Под стук колес хорошо вспоминать о детстве, о днях рождения, о том, как просыпался, зная, что подарок лежит в изголовье. И песню под него можно напевать. И стихи. Но стихов я не помню. Разве что «Мой дядя самых честных правил...». И Маяковского — о советском паспорте. Учительница литературы как-то отправила в соседний жэк, чтобы я там с пафосом прочитал Маяковского пенсионерам и шестнадцатилетним, только получившим паспорт. От волнения забыл в том месте, где про змею двухметроворостую, и ушел с позором. Поехали с ребятами в парк Горького кататься на аме-

риканских горках, и все надо мной измывались. Я злился. Я тогда был комсоргом класса.

...И нас уже нет —
ушли мы в рассвет,
ушли мы в рассвет по тревоге...

— Может быть, ты все-таки погасишь свет? — слышался снизу раздраженный шепот.

— Оль,— свесился я с полки,— помнишь, как мы в Парке культуры на американских горках катались?

— Помню. Ты мне мороженое тогда не купил.

— У меня денег не хватило. А у Андрея Воронина всегда хватало.

— Ты опять?

— Я просто вспомнил, как он купил тебе эскимо.

— Не эскимо, а в стаканчике за двадцать. А ты чуть не лопнул от ревности.

— Неправда твоя.

— Ты спать будешь?

— Буду. Спокойной ночи,— сказал я и выключил ночник. Но лучше бы я этого не делал, потому что штора на окне была опущена и стало совсем темно.

Минут десять я пролежал с открытыми глазами. А как только опустил тлеющие от бессонных ночей веки — очутился в лазуритовых горах, полетели над головой красные трассеры. Я перекатился за камень и едва не упал с полки, лишь в последний момент успев ухватиться за соседнюю. Задел спавшего там пассажира. Голый по пояс, жирный, перепуганный, он вскочил, ударился лбом о потолок.

— Вы с ума сошли? — сказал он, придя в себя.

— Извините.

— Да что «извините», так зайкой человека на всю жизнь можно сделать!

Проснулась и пожилая женщина внизу.

— То они шепчутся тут, то целуются... Девушка, совесть у вас есть?

— При чем тут девушка? — спросил я таким голосом, что женщина сразу отвернулась. Мужчина тоже больше ничего не говорил и вскоре захрапел, будто назло.

Полежав еще некоторое время с открытыми глазами, я включил ночник и при свете незаметно уснул.

Не доехав до города, в котором во время войны был ранен ее отец и жили мои товарищи по службе Игорь Ленский и Юра Белый, мы сошли на полустанке. Поезд скрылся за голубым еловым лесом, Оля помахала ему вслед рукой. Стало тихо. На платформе кроме нас никого не было.

— Ты меня любишь? — спросила Оля.

— Люблю.

— А почему ты никогда об этом не говоришь? Говори. А то я забуду. Где мы там будем ночевать? Я хочу, чтобы первая брачная ночь у нас была на сеновале.

— Откуда весной сеновал?

— Ну, тогда на русской печке. Сколько тебе было лет, когда тебя увезли отсюда?

— Двенадцать.

— Значит, ты почти ничего не помнишь? Как пахнет в лесу! Ужасно длинная была зима, правда? Мне казалось, она никогда не кончится.

Мы шли по разбитой тракторами, будто «градом» — реактивными снарядами, дороге, обходя лужи. Пахло прелью и уже новыми, нарождающимися листочками, и влажным мохом, и смолой. Дошли до Хлябова. Изба, где мы жили с теткой, была заколочена, почернела, покосилась, нижние венцы сгнили. Пошли дальше по улице, и я не узнавал домов, когда-то нарядных, с наличниками, а теперь совсем мертвых. Изгороди были повалены или их вовсе не было. Сиротливо глядели в небо «журавли».

— Невесело здесь у вас, — сказала Оля.

На скамейке у колодца сидел старик в телогрейке и валенках. Это был Филиппыч. Он учил нас делать поплавки, вытачивать стрелы для луков, мастерить ловушки. Во время войны он был сапером и любил рассказывать, сидя на завалинке, лузгая неспелые семечки, шелуха от которых липла к бороде, как в сорок третьем они стояли по грудь в ледяной, замерзающей уже речке и держали на себе мост, а солдаты по нему перетаскивали орудия и проезжали машины. Мы слушали рассказы Филиппыча и жалели, что поздно родились. Нам тоже хотелось минировать дороги, взрывать мосты, косить из автоматов фрицев почем зря. На

краю поля мы построили блиндаж и штурмом брали его. В рукопашной мне свернули скулу и тут же попытались вправить — я едва не потерял сознание от боли. Но не плакал. И Филиппыч сказал при всех ребятах, что со мной он в разведку бы пошел. Последние одиннадцать месяцев войны Филиппыч воевал в каком-то особом подразделении, о действии которого — как он говорил — рассказать можно будет только по разрешению и даже не министра обороны, а непременно всего Советского правительства. И Филиппыч ждал решения, а вместе с ним и ордена и прибавки к пенсии. Правительства менялись, волюнтаризм приходил на смену культу личности, период застоя — волюнтаризму, а решения не было. Все те, кто когда-то смеялся над Филиппычем, разъехались по городам или поумирали. Смеялся и я с мальчишками. А теперь сам оказался в таком же примерно положении: мы были — но нас не было.

— И Александровы уехали? — спрашивал я Филиппыча. — И Сантанеевы?

Он кивал, поглядывая на Олю.

— И Жучковы?

— Жучковых-то ни одного не осталось, — ответил Филиппыч. — Васька угорел пьяный, Сашка, сын его, утоп, брат его, Толик, на мотоцикле, и сестра удавилась, а мать ихняя, Зоя, она той весной... И Макаровых нет.

— А магазин или что-нибудь у вас здесь есть? — спросила Оля.

— Мага́зин-то есть, как же. В Федотовке-то есть магазин, как же.

До Федотовки было семь километров. Мы попросили у Филиппыча картошки, соли, хлеба и лука. Спустились к озеру. Оно уменьшилось едва ли не наполовину и почти все заросло.

— А вот и дуб, про который я тебе рассказывал. Тогда под ним вода была, представляешь?

— Не представляю.

Солнце было низко. Холодало. Я собрал валежник, приволок высохшую ольху и пару сосенок с медными иглами. Построив на сухой бересте шалашик из веток, поджег. Вспомнилось, как, наловив под дождем окуней, мы варили уху, перед закатом выскользнуло из-под туч солнце, засверкало и заискрилось все,

и дым от нашего костра, прошитый жемчужными нитями, стелился по траве, по ивняку, по стеклянной поверхности озера.

— Я не видела эту зажигалку, — сказала Оля. — Дай-ка посмотрю. Откуда она у тебя?

— Трофейная.

— Ты что, у кого-то ее там отнял?

— Нет. Нашел. Зашли в пустой дом, а она там валяется на полу.

— А почему дом был пустой?

Я переломил несколько сосновых веток и положил в костер. Иглы вспыхнули, заплясали в огне, скрючиваясь.

Зажигалка лежала рядом с «духом», который отстреливался из пулемета и ранил в живот Валеру Самойлова. Граната, брошенная Павлом, выворотила «духу» внутренности, но упал он, видно, не сразу или полз, и поэтому окровавленные кишки тянулись через всю комнату, от стены к стене. А на полу еще дымились миски с бараньим пловом, валялась согнутая ложка. И вдруг глаза убитого открываются... Как об этом расскажешь? Или о запахе, который стоял в том кишлаке под вечер, когда мы с Павлом и еще двумя ребятами вернулись по заданию комбата за документами. Днем на солнце было семьдесят пять, если не больше — термометры зашкаливало. Почти сварившиеся за день трупы, почерневшие раны были облеплены зелеными, синими мухами и какими-то коричневыми жучками. С нами был молодой солдат, вчерашний студент-психолог, он все шутил по дороге, калямбурил, стихи читал про электрика Петрова, о студентах своих рассказывал. А как увидел трупы, подкатила к горлу каша, что была на обед. Со словами «я сейчас, ребят, сейчас» он привалился плечом к дувалу, трясаясь от спазм. Мы разыскали сумку с документами, собрали кое-какие трофеи по мелочи, а когда вернулись, обезглавленное его тело плавало — как мне в первый момент показалось — в луже крови. Правая рука так и осталась поднятой, согнутой, с крепко сжатым кулаком — он пытался защищаться. Мы видели, как они уходили по сопке. Двое. Но сил за ними гнаться не было. Постреляли — и плюнули. Психолога все равно не оживишь, а отомстить за него и за других ребят — мы еще отомстим. Когда тащили его в лагерь,

из кармана выпала фотография, на которой был заснят погибший — тогда еще мальчик лет шести, сидящий на пони в зоопарке.

— Да ну тебя,— сказала Оля.— Иногда ты совсем чужой бываешь. Ты словно уходишь от меня куда-то. О чем ты думаешь?

— О тебе,— сказал я, наклонился и поцеловал ее в разгоряченную от костра щеку, в губы — она рассмеялась.

— Ты совсем не умеешь целоваться. Как ребенок маму, целуешь. Во-первых, почему у тебя всегда глаза открыты?

— Кто их знает.

— Раньше тебе не говорила, боялась, ты обидишься. Но теперь ведь мы с тобой родные, правда? Глаза надо закрывать, когда целуешь жену. И губы у тебя каменные. И язык. Давай я тебя поцелую. Только ты меня слушайся.

Глаза я так и не закрыл, мне хотелось смотреть на Олю. Упругим горячим языком она медленно вошла в меня, захватив постепенно и властно мои губы, я хотел подчиниться, но не получалось, и от этого злился на себя, и не мог до конца отбить мысль о том, кто ее научил целоваться, а язык ее был быстр, требователен и нежен одновременно, и что-то беспрестанно говорил мне, умолял, бранил и ласкал, и я наконец сдался, откинувшись на спину, скользкое илистое дно ушло из-под ног, понесло по бурлящему горячему арыку, я плыл, не думая уже ни о чем и ни о ком, течение становилось все быстрее и быстрее, мелькали ветви, плясали и кружились облака, сливаясь в одно облако, огромное, мягкое, теплое, обволакивающее, я погружался в него, я парил, я тонул в нем...

— Нет, нет, не здесь,— оторвалась от меня Оля, поднимаясь на колени.— Нет.

— Почему?

— Потому что,— она одернула водолазку.— Если бы я была зайчихой или волчицей. А я девочка Оля. Как ты думаешь, у этого Филиппыча может быть в доме чистое постельное белье?

— Сомневаюсь,— я сел, приходя в себя.

— Значит, еще потерпим. Столько уже терпели.

— А как же сеновал, русская печь?

— Нет. Вот приедем, примем душ в гостинице... Ну так ты мне расскажешь про зажигалку?

— Это была мина-сюрприз. Спасибо Павлу, а то...

— Что такое мина-сюрприз?

— Ну, вот термос, например, однажды нашли в блиндаже. Показался слишком тяжелым. Колба облеплена была черным пластитом повышенной мощности. Налили бы туда горячий чай, пластит расширился бы, и рвануло. Детские игрушки взрываются в руках у малышей. Конфеты, апельсины...

— Боже мой. Лучше не рассказывай.

Я стал закапывать в малиново-сизые угли картофе-лины. Оля пошла к воде. Сумерки, по-весеннему про-зрачные, незаметно покрывали озеро и лес. Я вспом-нил, как на поле за озером мы ловили майских жуков. Они летели из леса, словно истребители на бреющем, а мы стояли в ряд, пригнувшись, вглядываясь в такие же сумерки, и ловили кепками. Когда перекладывали их из кепок в банки, они гудели, вырывались из рук, перебирая лапками и стараясь раскрыть крылья. Ло-вили дотемна и совсем уж в темноте шли к Юрке Па-ровозову, который потом замерз по пьянке вместе с отцом в кювете, пить парное молоко с хлебом. Сколько же лет назад это было? Почти десять.

Вальдшнеп промахнул над озером. За ним еще один, трепеща крыльями, хоркая.

— Это утки? — спросила Оля, и ей отозвалось эхо из-за ивняка.

— Вальдшнепы, — сказал я. — Иди картошку есть.

— Готова?

Я выкатил из углей картофелину и стал подбрасы-вать ее. Остудив немного, с хрустом разломил попо-лам — в лицо пахло густым картофельным духом, задымилось рассыпчатое, белоснежное в сумерках кар-тофельное нутро.

— Беги скорей, а то остынет!

— Бегу!

Оля подбежала, по-девчачьи раскидывая ноги в стороны. Присела на корточки и взяла у меня поло-винку. Боязливо прикоснулась к ней губами. Поду-ла. Разломилла еще раз пополам и, вытянув губы, что-бы не обжечь, откусила.

— Ну как?

— Вкуснятина,— пробормотала Оля с каким-то норвежским акцентом.

— Посоли, вот соль. Лук почистить?

— А как же! И чтобы ни от кого из нас не пахло, одновременно откусим, по команде. Да? Мне кусочек и тебе. Давай — три-четыре!.. Ну вот. Теперь опять можно целоваться. Знаешь, хорошо, что мы выпивку с собой не взяли. Ясно, чисто так в голове.

— Да,— согласился я.— Хотя грамм двести бы сейчас...

— Когда ты с папой выпивал, мама испугалась, уж не алкоголик ли ты. Кто их знает, говорит. Ну, рассказывай.

— О чем?

— Как ты меня любишь. И как мы с тобой жить будем.

— Хорошо будем.

Когда мы ушли от озера, была уже ночь. Небо словно залили разбавленными водой и перемешанными разноцветными чернилами, сквозь которые едва проступали звезды. Впереди над деревушкой висела синевато-темная мгла, а за спиной у нас все еще светилась слабая красноватая заря.

— Как красиво,— оглянувшись, сказала Оля.— Если бы не было так холодно, можно было бы на улице спать.

— Ты замерзла?

— Нет. Ты забыл, что я никогда не мерзну? Но все равно обними меня.

4

Олю Филиппыч положил на кровать у печки, а меня на тюфяке на полу. Сам лег за перегородкой и тут же захрапел — что-то забулькало у него в горле, заскрипело, как проржавевшие дверные петли.

— Везет нам с тобой,— вздохнула Оля и отвернулась к стене.

— Оль,— прошептал я минут через десять. Но она не ответила.

А я опять не спал. Едва прикрою глаза — над са-мой макушкой, обжигая кожу, свистят трассеры, при-

цельно работает их «сварка», крупнокалиберный пулемет, а деваться некуда, я зажат между камнями в полной темноте. Кажется, что если и не попадут в меня и не влетит ко мне в гнездо граната, то я сам улечу. Душа вылетит. Если она есть. Но ее нету. Этому нас научили в школе на уроках анатомии. Где ей поместиться? Все человеческие органы известны. Ясно, нету. И бояться нечего. Все отлично. Вот только спать не могу, а так все отлично.

Глядя в потолок, обклеенный газетами, я стал вспоминать прошедшую зиму, которая незаметно промелькнула. С Олиной студенческой компанией мы отмечали Татьянин день, начало каникул — сперва в «Ладье» на Пушкинской, потом у кого-то дома, потом на вокзале, куда вся компания поехала нас с Олей провожать, и на прощанье она целовалась со всеми в губы. У них так принято.

Мы жили с ней на берегу водохранилища, моря, как его там называют, в пансионате. Покупали свежий творог и молоко. Ездили на автобусе в город, ходили по музеям, слушали камерную музыку. Обедали в жарко протопленном охотничьем ресторане, где стояло чучело огромного медведя, по стенам развешены были старинные ружья, олени рога, полыхал камин и подавали подогретое красное сладкое вино с тмином.

В начале февраля дни были ясные, морозные. По-завтракав, мы надевали у крыльца лыжи и по склону, покрытому плотным муаровым настом, спускались. Сперва Оля визжала от страха, падала, но я научил ее поворачивать на ходу и тормозить. По укатанной лыжне пересекали море. Лениво покрикивали, махали синеватыми крыльями галки, мелькала тут и там неспокойная сорока. Попадались заячьи следы и какого-то зверька поменьше. Через мраморный сосновый бор, сквозь солнечный дым в серебряно-заиндевелых ветвях выходили к монастырю, давно не действующему. Во дворе его похоронен автор слов гимна «Боже, царя храни». Какими судьбами его занесло туда? Были и другие русские могилы. Тяжелые сиреневые снега лежали на крыше полуразвалившейся часовни, на оградах и крестах, и мы молча бродили, взявшись за руки, между заброшенными могилами, думая каждый о своем. Возвращались под вечер, когда сдержанно шуме-

ли сосны и зеленело на западе небо. У дверей стяхивали веником снег, отдирали прилипшие к шерстяным носкам льдинки. Приятно было в носках идти за Олей, трогательно уменьшившейся в росте, по холодным гладким поскрипывающим половицам, и потом пить чай, глядя в окно на сумерки и друг на друга, и смотреть по цветному телевизору программу «Время», какой-нибудь фильм, утопая в мягких подушках дивана, тихонько разговаривая в гулком, пахнущем деревом и мебельным лаком фойе, и целоваться, крепко прижавшись друг к другу. Хорошо об этом вспоминать.

И о том, как мы зашли в костел, украшенный еловыми ветками, на вечернюю службу в честь какого-то праздника. Я раньше не бывал в костелах, и меня поразила своей красотой дева Мария — поразило то, как похожа на нее моя Оля. Но сказать об этом я не решился, потому что она бы рассмеялась.

Глядя в потолок, обклеенный пожелтевшими газетами, я думал о времени. Идет оно по-разному, хотя считается, что всегда одинаково. Почему такими долгими были дни в детстве? Почему урок истории пролетал мгновенно, а алгебра тянулась и тянулась? Мне и прежде мысли о времени не давали покоя. Часы разбирал. Бесперывно узнавал время по телефону, пытался уличить тетю, не зная, что голос записан на пленку. Подолгу смотрел на огромные напольные часы, словно гипнотизируя стрелки. Но это была игра. А в лазуритовых горах, когда окружили «черные аисты», и особенно потом, в штольне, я понял, что время действительно зависит от нас. Будь я корреспондентом, одним из тех, что прилетали к нам в лагерь, расспрашивали, как, и что, и почему, и по приказу мы устраивали для них показательный бой, вернее, бойню, где все заранее известно и расписано по нотам, и они улетали, довольные, чтобы рассказывать дома о своих подвигах, — будь я корреспондентом, сказал бы, что ночь длилась целую жизнь. Может, и дольше. Вообще, в армии время шло иначе, чем на гражданке. Растягивалось и сжималось. Перезарядить в бою автомат — дело нескольких секунд. Но кажется, что целый час, а то и вечность, потому что чувствуешь себя не бойцом-десантником, а мишенью в тире.

Я вспоминал, как жил в этой деревушке. Помо-

гали взрослым сено сушить. В лапту играли. Ловили окуней в озере, устраивали морские бои, переплывали его на спор вдоль и поперек, а потом, дрожа, с посиневшими губами, покрытые гусиной кожей, отогревались на солнце. Я часто озеро вспоминал. Возвращались с Павлом с боевой. Воды, с хлоркой, пантацидом, оставалось по глотку, а топать до «зеленки» — до оазиса, где нас ждали, километров двенадцать. По прямой. А так — вдвое больше. Ташим на себе каждый килограммов по семьдесят. Молчим, потому что слово, даже самое короткое, отбирает энергии столько же, сколько девять метров по песку после боевой, в горных ботинках и с грузом. Шухрат рассчитал. Да и при малейшем движении язык прилипает к шершавому небу, как к броне пальцы на морозе. И вот я гляжу на свои разбитые, разбухшие от пота, пыльные ботинки, точно сами по себе шагающие, а вижу озеро, золотистую рябь, слышу кваканье лягушек, и с кончика носа, со лба на губы капает не горячий горький пот, а прозрачные, пахнущие камышом и рыбой, холодные капли медленно скатываются, и ничего нет вокруг, и не было боевой, в которой мы потеряли троих, а всегда будет только детство, бесконечное, как небо за облаками, плывущими по озеру.

Но чаще всего я вспоминал деревушку в учебке, где все было впервые — ночные тревоги и ночные отчаяния, когда не хотелось жить и лишь воспоминания спасали, марш-броски, стрельбы, выяснения отношений со «стариками» и «дедами», которые после отбоя приходили из соседнего полка отбирать у нас новые ремни, сапоги, шапки, а взамен нахлобучивали свои старые и заставляли благодарить за это. Здесь, в Хлябове, я научился не бояться ударов по лицу, здесь мне выбили первый — молочный еще — зуб и разбили нос, и я одержал первую свою победу. В учебке «дед»-сержант потребовал, чтобы мы, салаги, отнесли его на простыне в сортир, потому что за семьсот с лишним дней службы он устал ходить туда пешком, и мы понесли, печатая строевой шаг, но перед входом в сортир я отпустил свой угол простыни, и «дед» упал в зловонную лужу — после отбоя сержанты завели меня в каптерку, их было четверо, пьяных, в подкованных сапогах, я понял, что лучше не сопротивляться; но потом никого уже на простынях в сортир у нас не носили.

И здесь однажды утром вломилось в меня, словно самоходка в дувал, первое, самое первое, что не забывается. С Вовкой Куроедовым и его мамой, самой красивой женщиной на свете, тетей Дуней, мы дотемна возили сено и заночевать решили на сеновале неподалеку от пасеки. Перед сном тетя Дуня рассказывала нам грудным убаюкивающим голосом о детстве, о том, как они с подругами лешего на болоте искали, наряжались, на танцы ходили за четырнадцать километров и как смешно ухаживал за ней Вовкин отец, только отслуживший тогда армию... Я уснул, но сразу и проснулся — проспав часов пять; душной ночью тетя Дуня сбросила брезент, которым мы укрывались, и, едва забрезжил рассвет, ослепила меня сквозь веки млечная белизна ее полной груди с темно-коричневым, сжавшимся, пупырышками покрытым от утреннего холода соском, которого кончик носа моего и губы почти касались. Сердце провалилось, я не мог его отыскать — да и не искал. Я лежал, затаившись, и весь прежний мир, привычный, ясный, рушился, как в кино Берлин под бомбежкой. Рассветало, и я больше всего, больше смерти боялся наступающего дня, но и мечта у меня в тот момент была одна — чтобы поскорее день наступил; я словно ждал своего собственного рождения. А тетя Дуня, отгоняя комара во сне, уронила мягкую тяжелую кисть мне на затылок, подалась вперед — деваться было некуда. Так я и лежал, не дыша, умирая от удушья, но ничего не желая больше, чем умереть, а уже сочилось сквозь листья солнце, как мед, жужжали на пасеке пчелы и в деревне пели петухи. После ночных марш-бросков в учебке — не в первые минуты, когда ты не человек, а просто организм, пытающийся отдышаться, погода — покрывало теплой влажной пеленой то утро, и нежный, словно одуванчик, холодок тайком от самого даже тебя проползал по шву подворотничка, струился меж лопатками, и горечь, и обида на весь свет, все привкусы, которые почувствовать на языке и в сердце может лишь тот, кто бегал многокилометровые марш-броски в противогазе с полной боевой, исчезали, их смывал вкус молока и меда.

На войне, конечно, те учебные марш-броски казались школьными уроками физкультуры. На войне, как называли мы боевые операции, я трижды падал и уми-

рал и меня — вместе со своим РД и оружием — тащил на себе Павел, и Володя Шматов тащил, а привыкнув, отвоевав пять войн за два с половиной месяца, я также вытаскивал молодых, не раненых, но даже сознание терявших от усталости и кислородного голодания, когда пешкодралом, оставив броню внизу, без перекуров карабкались мы на трех опорах с нулевки почти на пять тысяч метров. Но там уж не до воспоминаний.

И еще я вспоминал деревушку, когда над лагерем проплывали по осени треугольники журавлей. Однажды под вечер мы лежали в засаде не спавши, не жравши, моросил холодный дождь, чернели по бокам и внизу скалы — и вдруг летят. Нас было двенадцать, не считая взводного, и все задрали головы, как по команде. Смотрели молча. Каждый уверен был, что журавли видели недавно крышу его дома, будь то в деревне или в городе, на Брянщине или за Уралом. С размашистым посвистом летели, с надтреснутыми усталыми кликами, от которых сжимало горло. И тут ударил из пулемета Миша Хитяев — началось. Я успел заметить сквозя дым в мгновенно сгустившихся сумерках, что клин сразу сломался, его разметало по небу, но вот же глупые птицы — вместо того, чтобы удирать в Африку или куда они там направлялись, возвращаются и, выстроившись в клин, как на строевых занятиях, вновь проплывают над нами, ведущими бой, словно желая увести нас за собой от смерти.

Я подумал об Оле. О том, как у нее шло время, пока я был там.

Позапрошлой осенью она написала мне с Черного моря — дождь, шторм, скучно и грустно. Письмо лежало у меня во внутреннем кармане хэбэ, пока не истерлось, а Миша Хитяев, выросший на море, всю дорогу травил байки о пляжных девочках с шоколадным загаром и как там, у него на Мысе, все легко и просто: «Приглашаешь в боулинг, или на корт, или на водном велосипеде прокатиться...» Однажды после отбоя я помахался с ним, никто из ребят не понял — из-за чего.

Думая об Оле, я заплакал и не заметил, как рассветло. С утра шел дождь, мы сидели в размытых глинистых окопах, ждали наступления. Вторые сутки ни согреться, ни просушиться. Представлялась эта стра-

на иной — знойной, выжженно-белой, с оливками и кипарисами на фоне черного звездного неба, с тавернами, холодным, из погреба, вином, гитарными переборами, блеском черных глаз и малиновых губ и взмахом тонких, смуглых, сильных, нежных рук над головой, изгибом стана, треском кастаньет... Почему мне вспомнилась Испания? И какое она имеет ко мне отношение? Устал я. Выспаться бы. От Севильи до Гранады, от Гранады до Кандагара... от Джелалабада до Гвадалахары...

Должно быть, я все-таки немного поспал, а проснулся от чувства, будто на меня кто-то смотрит.

На меня смотрел сверху Сталин. Глаза с морщинами и усы у него были хорошие. Аншлаг первой полосы «Правды» гласил, что вождю и учителю исполнилось семьдесят лет. Дальше шли поздравления. Сорок девятый. Вскоре расстреляли деда. Он воевал в Испании и был ранен. Воевал на финской и отморозил пальцы на ногах. Он был врачом, хирургом, работал с Бурденко во время войны. Делал операции на мозге. Сотни человек спас от смерти. И его расстреляли. Неизвестно где.

Я много думал о деде. Читая книги о войне в Испании, воображал себя мчащимся на танке или на самолете или шагающим по пыльной дороге в Барселону, которая почему-то представлялась мне прекрасной женщиной, и я завоевывал ее, в мальчишеских мечтах каких переплетений только нет, я мечтал, чтобы у меня в жизни тоже была своя Испания, как у деда, но я стал бы знаменитым на весь мир героем, пролившим кровь за справедливость, за свободу чужого народа, ничто не могло соперничать с этой моей великой и тайной мечтой, и, когда мы с Павлом Владычиным сидели после ужина в курилке, в первый или во второй вечер, а вокруг чернели горы, кружил дежурный вертолет, выпуская красные огоньки, доносились пулеметные очереди, и пахло чем-то пряным, горьковатым, и слышалась неподалеку чужая речь, казалось, что не афганские звезды надо мной, а звезды Испании и испанские цикады стрекочут, и сердце колотилось от счастья, все бурлило во мне, я не мог дожидаться рассвета, чтобы идти в бой, не зная толком, против кого, за что, да и мало меня это тогда заботило.

И вот я о чем часто думал: почему от меня скрывали то, что случилось с дедом? Я спрашивал отца, когда мы встречались, но он уходил от ответа, спрашивал маму, она отвечала, но все время одно и то же, и ясно было, что она не хочет, чтобы я знал даже половину, даже четверть правды. Я спрашивал учителей на уроках истории и литературы о том, что происходило в Испании,—они отвечали абзацами из учебника; спрашивал, почему уничтожили перед самой войной лучших полководцев, почему погибло у нас больше тридцати миллионов, а у немцев, воевавших чуть ли не со всем миром,—восемь, почему проигравшая в войне Германия процветает, судя даже по телепередачам, почему тех, кто был в плену и в окружении, после войны пересажали, расстреляли, что это был за процесс врачей в конце сороковых — начале пятидесятих годов? — учителя вовсе не отвечали, делали вид, что не слышат, хотя я громко спрашивал, и однажды завуч пожаловался, а завуч так объяснила: отсутствие отцовского воспитания сказывается, только безотцовщина может задавать столь безапелляционные вопросы; больше я безапелляционных и вообще никаких вопросов не задавал и к любимому когда-то предмету — истории постепенно интерес утратил.

А на службе — во многом благодаря Павлу Владычину — вновь стал задаваться вопросами. И главный из них: за что расстреляли деда, прошедшего три войны? Поверить в то, что он враг народа, шпион или убийца в белом халате, по-моему, никто не мог бы. За что? За что расстреляли и уничтожили в лагерях сотни тысяч, миллионы людей? «За то, что они верили», — сказал как-то Павел. Я этого понять не мог. И до сих пор не могу. И еще Павел сказал — уже на гражданке, недавно: «Революция обычно пожирает своих детей. Это еще жирондист Верньо заметил. А мы, считай, правнуки. И все же... Ты знаешь, что самым страшным будет для матерей погибших наших ребят? Не закрытые цинковые гробы, нет. То, что выяснится рано или поздно — ошибочка вышла с войной. Напрасная она была».

Оля во сне чмокнула губами и откинула руку. За перегорожкой было так тихо, что я забеспокоился, не скончался ли Филиппыч? Встал, заглянул к нему. Он лежал лицом вверх на высоких подушках с неплотно

закрытыми глазами. Торчала в потолок клочковатая бородка. Морщинистое бескровное лицо его было бледно-зеленым. Я наклонился и прежде, чем услышал слабое дыхание Филиппыча, успел подумать о том, как не похожа смерть старика на смерть молодого человека.

Подошел на цыпочках к Оле. «Девочка моя родная,— прошептал, борясь с желанием поцеловать приоткрытые сухие губы.— Любимая моя. Не верю. Не верю никому».

5

Было уже совсем светло, когда я спустился к озеру, неправдоподобно гладкому. Верхушки елей бронзовели от зари, а стволы их внизу были скрыты туманом, словно подрублены. Поблескивали на берегу бурые лужицы вешней воды. Я подошел к дубу по бывшему дну, достать которого удавалось не всем — так было глубоко. Испокон века с этого дуба прыгали хлябовские мальчишки. Полез однажды и я. Хорошо помню, как подтягивался, карабкался с ветки на ветку, потому что не хватало роста, цеплялся ногами, как обезьяна, чуть ли не зубами, и все-таки залез. Когда глядел на дуб снизу, казалось, что ничего страшного, другие прыгают — прыгну и я. Пока лез, вниз старался не смотреть. И вдруг, лишь добрался до заветного сука, глянул — свело все внутри, перехватило дыхание, потому что не озеро лежало далеко внизу, а лужа, хоть и большая. Я хотел тут же спуститься и сделать вид, будто ничего не было, но уже трещали внизу ветки и шуршали листья, слышались голоса. Тогда я быстро, рискуя сорваться, взобрался на самый верх и затаился. Парни — их было четверо и все намного старше меня — прыгать не торопились. Белокожие, мускулистые, в длинных черных сатиновых трусах, с неумело выколотой татуировкой на плечах и на руках, по-деревенски жилистых, они сели на сук и закурили. Заговорили о женщинах, о рыбалке, о мотоциклах. Потом об армии: салаги, сачкодавы, присяга, дембельский аккорд... А я сидел, почти висел сверху, между тонкими ветвями, готовыми вот-вот обломиться, и завыдовал. Докурив, парни стали прыгать. Один сиганул

сразу, не раздумывая. Другой — сделав на суку нечто вроде разминки. Третий — тоже помедлив, поглядев вниз, ринулся в бездну, растопырив белые кривые ноги, с громким отчаянным матом. Как они входили в воду, я не видел, но слышал всплески и радостные их голоса, смех, счастливую ругань. Поспорив о том, кто лучше вошел в воду, у кого было меньше брызг, парни оделись, причесались и пошли на танцы. Я остался один над озером. Подумал об армии, которая, несмотря на то, что рассказывали отслужившие, в глубине моего воображения была чем-то совсем неопределенным, но чаще связанным то ли с Испанией, где воевал дед, то ли с неведомыми далекими и прекрасными городами, башнями, на которые я зачем-то водружал знамена... Я вспомнил плакат, висевший у нас в школе: «В жизни всегда есть место подвигу!» Где оно, это место? И способен ли я на подвиг? Еще совсем недавно, полчаса назад, ничего не было легче, чем спуститься с дуба и уйти домой. Но теперь я сделать этого не мог. Что-то во мне включилось, пока я висел на ветках и завидовал парням. Теперь я уже должен был прыгнуть, хотя никого вокруг не было и никто бы мой полет не увидел. Как и мой позор. Но я обязан был себя победить. Теперь — или никогда. Так я решил.

И я пошел по суку, как на плаху, к разветвлению, с которого прыгали парни. Встал там в полный рост. Напряг мускулы, набрал полную грудь воздуха. Солнце садилось, выхватывая напоследок то несколько еловых верхушек, то красноватые стволы, то драночные крыши деревушки, то край озера. Потом разлились сумерки. Все более злобно, презрительно пищали и кусались, впивались жальцами в кожу, путались в волосах комары. Становилось холодно. А я все стоял и все больше себя ненавидел. Я смотрел на лес, на крышу дома, в котором меня ждало парное молоко, хлеб с вареньем из голубики и вот-вот должно было начаться по телеку кино про войну. Я смотрел вниз, на темнеющую воду. Она то приближалась, то вдруг неимоверно отдалялась, и у меня начинала кружиться голова. Я закрывал глаза и считал до десяти. До ста. Мне было страшно, я наконец признался себе в этом и теперь пытался понять, что это такое — страх? Чувство, которое спит или дремлет где-то внутри, но просыпается, точно большая дикая кошка, то серая с полоса-

ми, то огненно-рыжая с белыми подпалинами, а то черная, и нет ничего на свете трудней, чем обмануть ее и снова усыпить или вообще не обращать внимания на то, как она скребется, и мяучит, и вопит мерзким голосом. Много раз я пытался задушить ее, хватал за горло, сдавливал изо всех сил — но она выскальзывала и орала еще громче, еще противней. И за хвост я ее ловил, но она, словно ящерица, оставляла хвост у меня в руках. Я смотрел вниз, пытаюсь выманить кошку до конца, и, когда она, на этот раз темно-болотного цвета, появилась вся, вместе с длинным хвостом, когда заглянула желтыми глазами мне в глаза и коснулась лапами моего лица, не успев еще выпустить когти, я прыгнул, отринув кошку, в темноту — полетел сперва ногами вниз, но в воздухе меня перевернуло на бок, потом вперед, и я ударился о воду грудью и лицом. Выплыв на берег, заметил, что из носа льет кровь. Грудь и лоб пылали, перед глазами не рассеивался туман, голова гудела и летели вверх горящие стрелы. Но я был счастлив. Я понял, что такое страх. Я победил.

Прошло шесть лет, и кошка снова заглянула мне в глаза, а глаза у нее на этот раз были кровавыми. Я видел, что Павла зацепило, когда он, крикнув: «Делай, как я!», одним броском проскочил ущелье. Виду он не подал. Из-за камня выругался — весело, как только он один умел в такие минуты. Крикнул, чтобы я не тянул кота и что-то еще крикнул, и дал ответную очередь, прикрывая меня. Я подумал: откуда он знает про кошек? Хотя нет, подумал я об этом позже, конечно. Когда проскочил ущелье и в темноте мы с Павлом, раненным в ногу, спустились к броне. А там, в ущелье, под пулями, каждая из которых могла просверлить мне в голове аккуратненькую дырочку диаметром пять и сорок пять сотых миллиметра или разнести череп и вместе с ним все мои воспоминания, всю девятнадцатилетнюю жизнь мою в клочья, я ни о чем не думал. Но я помню, что возникло у меня перед глазами за мгновение до броска — тот самый дуб, с которого я прыгнул в детстве.

Я подошел к дубу. От его основания до воды было теперь шагов тридцать. Оглядевшись, я быстро забрался наверх. Сел на ветку верхом. И вдруг, вздохнув всей грудью с такой силой, что захолонуло что-то

внутри, я заулыбался, как дурачок, глядя на розовеющее небо, на облака, на деревню, на высохшее болото, где собирали когда-то клюкву. Мне бы и еще из детства что-нибудь вспомнить или подумать, как дальше буду жить, с Олей, ведь все теперь иначе. О жизни подумать. Но совсем пусто было в голове. Пусто и радостно. И теряющие смысл, сливающиеся, будто голова весенних птиц, слова кружились: «Как-хо-ро-шо-как-здо-ро-во-что-жив-жив-жив!...»

Вот так же, когда только прилетел в Москву и еще не получил из багажа свой дембельский чемодан, я сидел возле аэропорта на скамейке, умывался родным русским снегом и улыбался. А прохожие смотрели на меня и думали: пьян.

Покраснела, заискрилась от солнца и задымилась трава, и я вернулся в деревню. Где-то мычала корова. Сидя на завалинке, Филиппыч плел корзину.

— Доброе утро!

— Доброе, доброе,— прищурившись, взглянув на небо, закивал старик.— Как спалось?

— Спасибо, отлично.

— На озере были?— он почему-то перешел на «вы».

— Да, прогулялся.

— Обмельчало наше озеро.

— Да.

— А супружница ваша дремлет ишо. Видная из себя женщина. Яркая. Как с обложки. Детишки-то имеются?

— Нет пока.

— А что?

— Не успели еще. Я не понял вчера, все из деревни уехали? Никого не осталось?

— Как не остаться — осталось. Вот я, к примеру.

— Простите.

— Сантаневы остались.

— А говорили, что уехали.

— Так то ж молодые. А старухи остались — сестры. Чернуха остался.

— Дед? Ему лет сто уже, да?

— Не, ста не будет, не. Годов девяносто, не боле.

— А Куроедовы?

— Таких что-то не припомню.

— Дядя Петя, тетя Дуня...
— Курощуповы? Они давно уж: Петю бульдозер пополам.

— Как?

— С получки возвращался, уснул на дороге, его и...
Дунька пила крепко, пока не пропала.

— Как пропала?

— Пропала, да и все тут. Может, подалась куда.
Это когда Вовку, сынка их, в третий или в четвертый раз за разбой приговорили.

— А Юрка Ершов?

— Рыжик такой конопатый? Лешки Ершова сын?

— Да.

— Его при исполнении этого... тырцинанального долгу.

— В ДРА?

— А? Ага, вдыра, вдыра. Вганистане. Привезли по весне гроб цинковый. С окошечком. Цельный день от станции везли, дороги-то все разжижило. Окошечко махонькое, что там сквозь него видать? Ну, схоронили как положено. Поминки. А месяц спустя другой цинковый привозят. Солидный такой из себя майор сопровождает: ошиблись, мол. Попутали, значит.

— Бывает.

— А вы откель знаете? — навел на меня поверх очков взгляд Филиппыч.

— Рассказывали.

— Не должно такого быть. В нашу войну такого не бывало.

— Так уж и не бывало.

— Не бывало! Порядок был. Это теперича всем на все накласть. Который год рапорта подаю в сельсовет, чтобы срочно меры принимали от мышей и особливо крыс! В том году приезжали со станции, наливай, говорят, папаш, по стакану монопольной. А где взять-то ее, монопольную? Ну, принес им от сестер продукт, литровую самого качественного. Закусили, пофукали. Все в ажуре, говорят, папаш. И у Чернухи пофукали. И у сестер. Мы им красненькую. А осенью от ихнего фуканья еще больше крыс стало. И все как на подбор — с кошку. Я уж и так с ними, и этак — пустое. Может, вы там у себя в столице на центральной станции скажете.

— Скажу,— пообещал я и ушел в избу, потому

что мышино-крысиная тема меня не очень занимала.

Оля не спала — читала заголовки газет на потолке:

— «Любимый отец и великий учитель». «Четвертый том Сочинений И. В. Сталина на таджикском языке». «Солнце нашей жизни». «Трудящиеся всего мира видят в великом Сталине верного и стойкого борownika мира и защитника жизненных интересов народов всех стран. Великий Сталин зажег в сердцах всех простых людей земного шара непоколебимую веру в правое дело борьбы за мир во всем мире, за национальную независимость народов, за дружбу между народами».

Читала все это Оля серьезно, даже торжественно. И вдруг рассмеялась.

— Ты чего? — спросил я, присев на кровать, и поцеловал ее в сухие теплые губы.

— Так, ничего. Вон там, в углу, видишь? «В Макеевке оберегают зажимщиков критики». Ты давно встал?

— Не очень.

— Солнце, да?

— Да.

— Здорово. Я голодная. Что мы будем есть на завтрак?

— Что-нибудь сообразим.

— Ну, тогда иди соображай, ладно? А я пока оденусь. Что ты сидишь? Поцелуй меня и иди.

Я вышел. Оказалось, что Филиппыч уже позаботился. На столе перед домом нас ждала трехлитровая банка молока, свежий творог в миске, дюжина отборных крупных яиц, буханка хлеба. Оля умылась, и мы сели за стол. Небо было ярко-голубое, без облачка, и на его фоне хорошо видно было, как за ночь выпрастались, расправились листки сирени. Солнце поднялось уже высоко, трава подсохла, блестели, переливались капли влаги на банке. В поднебесье носились стрижи или жаворонки. Не переводя дух, я выпил больше литра молока, вздохнул и промолвил, вытирая рукавом подбородок:

— Вот о чем я мечтал.

— А всю банку сможешь? — улыбнулась Оля.

— Смогу.

Прощаясь с Филиппычем, я хотел дать ему день-

ги, он стал отказываться: «К нам, старикам, редко кто заглядывает, а тут земляк»,— но я сунул ему в карман ветхой телогрейки трешку, и он долго благодарил.

— Так вы насчет мышей и особенно крыс не забудьте,— напомнил старик.— А то жизни от них никакой.

6

В город мы приехали под вечер восьмого мая.

Всюду краснели флаги и плакаты и звучала песня «День Победы».

В гостинице неподалеку от вокзала Семен Васильевич через знакомых забронировал для нас двухместный номер. За стойкой никого не было. Администраторша появилась, вытирая салфеткой пальцы, минут через двадцать. Не сразу она нашла нашу бронь, и мне почему-то казалось, что она не найдет ее никогда. Заполнив анкеты, заплатив, мы поднялись на лифте на третий этаж. Прошли по длинному коридору, застеленному дорожкой. Взяли ключ у горничной. Номер был большой, с окном на площадь, с телефоном и телевизором. Оля сразу включила телевизор, но работал он плохо, его нужно было настраивать.

— Вечером посмотрю,— сказал я, сзади обнимая ее, наклонившуюся над телевизором, но она, изогнувшись, выскользнула, отступила к стене, порхая поднятыми пальцами.

— Во-первых, дверь открыта и может войти горничная,— сказала она.— А во-вторых, не теперь, потом. Когда стемнеет. Я сейчас быстренько приму душ, и мы погуляем, ладно? И поужинаем в ресторане.

Она открыла чемодан и долго выставляла на тумбочку у кровати флакончики разной величины, формы, цвета, с круглыми, плоскими и тоненькими многогранными крышечками. Потом, выкурив сигарету, стала развешивать в шкафу платья, юбки, джинсы, кофточки.

— Сколько ты с собой набрала!

— А как же? Ведь у нас с тобой свадебное путешествие! Не смотри, я разденусь. А впрочем,— она сняла через голову платье,— если хочешь, можешь не

отворачиваться. Ты ведь мой муж, а родного мужа глупо стесняться.

— Нет ничего глупее,— согласился я, чувствуя, что краснею, и отвернулся к окну. Спросил: — А бывают и неродные мужья?

— Сколько угодно. Красиво, когда женщина в чулках, правда? У меня только одна пара, а колготок целая куча. Ты мне подаришь красивые чулки? Почему ты отвернулся? Тебе неприятно на меня смотреть?

— Дурочка ты.

— Из переулочка. Расстегни.

Я подошел, расстегнул, она посмотрела на меня через плечо, почти в упор. Я сжал ее голову ладонями, приблизил лицо к лицу так, что носы наши сплющились, глаза стали огромными и черными и зовущими, и я не выдержал — резко развернул, привлек к себе всю, обнаженную, упругую, теплую, стал целовать, шептать что-то умоляющее, безумное и поднял ее на руки, понес, целуя, но с криком «Псих ненормальный!» она яростно вырвалась, оцарапав мне щеку до крови, и убежала в ванную.

Я отошел к окну. Почудилось, что машины, дома, вся площадь залиты кровью, и в крови — лицо той девочки, распахнутые, точно живые, огромные ее глаза. Мы ворвались в кишлак, откуда стреляли эрэсами и подбили две наши пехотные машины, ночью. Ни мужчин, ни стариков, ни мальчишек не было, успели уйти. Мы прочесывали кишлак в поисках оружия. Ночью на боевых операциях мы подавали сигналы, предупреждая друг друга свистками. Мелькнула тень — свисток — свой; другая тень — я припал спиной к дувалу, врос в него, свистка не было вечность, секунды две или даже три, и, чтобы опередить, в падении я полоснул короткой очередью — и услышал детский вскрик. Подбежал, осветил фонариком. Это была девочка лет одиннадцати, длинные, в ее рост, волнистые волосы разметались по земле. Первая мысль, помню: не стриглась ни разу с рождения. Рядом лежал кувшин, из него что-то тихонько струилось. Я поднял кувшин, напился и, услышав слева в темноте несколько свистков, пошел дальше на проческу. О девочке я не думал до тех пор, пока незадолго до рассвета, выставив посты, мы не остановились на привал в доме на

отшибе; я сразу лег и провалился в сон, но проснулся — ее черные, опущенные густыми ресницами глаза смотрели на меня и будто улыбались, и, сколько я ни ворочался с боку на бок, никуда от этих глаз не мог спрятаться. На улице уже светало. Небо было разрисовано малиново-оранжевыми полосами, предвещающими пекло. Она лежала там, где я ее оставил, и казалась спящей — нежно розовели в отблесках восхода щеки, покрытые золотым пушком, тоненькие прозрачные пальчики левой руки были плотно сжаты в «лодочку» и словно намеривались зачерпнуть пригоршню мокрого от крови песка и слепить кулич или что-нибудь такое, что лепят дети в песочницах. Я отцепил саперную лопатку, начал копать. За спиной кто-то длинно заковыристо выматерился. «Ты что, в натуре, охренел? — Володя Шматов хлопнул себя по ляжкам. — Выступаем, за тобой послали, а ты никак могильщиком заделался?» — «Помоги, Володь, вдвоем мы быстро...» — «Ты ее?» — «Нет», — соврал я. «Мы тут как на ладони простреливаемся, пускай сами закапывают!» — «Старухи? Ты знаешь, что с ней в такую жару будет к вечеру?» — «Ну а тебе-то что! Черпак ты, черпак, войны не понял! Пошли быстро!» — «Пока не закопаю, не уйду», — сказал я и стал копать, хотя совсем уже было светло и бегал у меня по спине, повернутой к горам, от шеи к пояснице шершавый холодок. Шматов стоял, глядел на меня, как на сумасшедшего, лишь глухо матерясь. И вдруг завопил истошно, что мне еще пахать, как медному котлу, а ему девяносто два дня до приказа и он не хочет, чтобы ему башку здесь расколошматили из-за какой-то грязной сучки, что, мол, кончит меня к такой-то матери — автомат вскинул, передернул, — что козел я и раздолб, если не понимаю, что все они враги заклятые, были, есть и будут, пусть и не сама она мину противопехотную поставила бы, такую, на которой его землячок Валера Пискунов неделю назад подорвался, так сыновей бы нарожала целый взвод, и они стреляли бы по нашим с гор, из-за дувалов, резали бы, жгли, пытали, и столько бы еще ребят погибло, а я — хоронить! — он подошел и треснул мне кулаком в нос, я его — головой в живот, и тут взметнулись фонтанчики, заскакали по земле камешки от пуль. Меня спасло тело мною убитой: одна пуля застряла у нее в груди, другая — в бедре. А она все смотрела.

Почему я об этом вспомнил? Неужели теперь и Оля будет с этим сопряжена?

Надо заставить себя забыть. Все забыть. Вспоминать только детство, школу и то, что началось двенадцатого декабря прошлого года, когда я умывался снегом в аэропорту.

В ванной зашумела вода. Прислушиваясь к всплескам, к песенке про собаку и дворника, которую тихонько напевала Оля, я смотрел на площадь. И снова, в который уже раз после возвращения, мне показалось странным, что едут машины, троллейбусы, спешат куда-то мужчины и женщины, модно одетые девушки и парни, вон идет по той стороне в обнимку парочка, она в мини-юбке, в разноцветных сапогах, с всклокоченными фиолетовыми волосами, он — в цепях, в железных собачьих ошейниках, — а там в это время, может быть, в эту самую секунду такие же, как он, ребята...

Но забыть, забыть. О чем-нибудь другом думать. Я никогда не жил в настоящей гостинице. Мы с мамой ездили в другие города, но останавливались у родственников или у знакомых. Однажды в общежитии. И в Доме колхозника, где шесть человек в комнате. А здесь и всю жизнь можно было бы прожить. Картина Саврасова «Грачи прилетели». Тумбочки лакированные. Люстра. Графин. Телевизор опять-таки, который надо будет настроить. Хотел сам забронировать номер, позвонил еще в апреле. Но, оказалось, что это невозможно. Даже Олиному отцу удалось с большим трудом. Опять Семен Васильевич. «Что бы мы без папы делали?» — сказала Оля, узнав, что и билеты на поезд в свадебное путешествие нам достал ее папа через своего давнишнего знакомого полковника, ведающего воинскими кассами. А Семен Васильевич, хлопав меня по плечу, сказал: «Эх ты, пехота». Я ответил, что служил не в пехоте. Но когда он начинает говорить, то не слышит никого, а потом, смачно зевнув, лязгнув стальными коронками во рту, уходит, ложится спать. И он сказал, приготовившись к зевку: «Все вы — пехота».

За дверью ванной стало тихо.

— Черт побери! — ругалась Оля, вращая краны. — Ну я так и знала, ну просто уверена была, что вода кончится. Мне везет. Тихий ужас прямо! Слава богу, хоть мыло успела смыть.

Она вышла в длинном махровом халате, с мокрыми взъерошенными волосами. Улыбнулась.

— Почему ты мне не говоришь «с легким паром»?

— С легким паром.

— Чертов водопровод. Чуть-чуть воды не хватило для полного кайфа. Что ты стоишь, как истукан?

— А что мне делать?

— Во-первых, не грубить. А во-вторых, быстренько обнять свою девочку и поцеловать. И сказать, что любишь. Учить тебя всему...

— Крепко обнять? Чтобы мы с тобой стали одним?

— Конечно. Только с ума не сходи.

Потом, когда высушила феном волосы и нарядилась, она сказала:

— Глупый ты. Как ты не понимаешь, что я хочу, чтобы у нас с тобой все красиво было. А не так.

Она надела клетчатую красно-черную юбку, кожаный пиджак и туфли на высоких каблуках.

— Возьми плащ, замерзнешь,— сказал я.

— Ты что, забыл, что скоро лето?

Мы вышли. В Москве в это время совсем уж темно, а здесь ночь все не наступала. Бледно-зеленое в коричневатых разводах небо за темными резными силуэтами старых домов было похоже на театральный задник.

Оля взяла меня под руку, и мы чинно двинулись от площади по проспекту мимо тускло освещенных витрин. Народу было много, поблескивали в толпе ордена и медали фронтовиков, приехавших в город на День Победы. Завтра с утра будут митинги, встречи, слезы, цветы, песни, а сегодня фронтовики не спеша дефилировали по проспекту и улицам, асфальт которых остался неисковерканным гусеницами «тигров» и «пантер», хотя были немцы совсем близко.

— Папу в нескольких километрах от города ранило,— сказала Оля.— Хорошо, что мы сюда приехали, правда? Я бы ни за что не пошла под фатой к Вечному огню или еще куда-нибудь. А вот так приехать в город... Ты не обижайся на папу, когда он тебя учит. Он ведь жизнь прожил. И какую.

— Я и не думал обижаться.

— Если бы не они...— сказала Оля, глядя на фронтовиков.— Представляешь, они совсем молодыми то-

гда были. Как мы. Или даже еще моложе. И вот теперь впервые, может быть, с тех пор встречаются. Представляешь?

— Представляю,— ответил я, хотя плохо себе это представлял и однажды сказал Оле, но она назвала меня циником. А меня действительно удивляло, что так много народу знало друг друга на войне. Я вот, например, не знал почти никого даже из соседнего ДШБ, в котором служил раньше Павел. И нас, батальон специального назначения, они знали плохо, и однажды их борзый прапор, едва ли не вплотную подойдя, открыл огонь из пулемета с брони по двум нашим ребятишкам, спускавшимся с сопки,— за «духов» принял.

— Я так люблю, когда папа рассказывает про войну,— говорила Оля.— Он иногда про одно и то же по-разному рассказывает, но ведь столько лет прошло. Страшно. Мне иногда снится война: родители потеряли меня, я куда-то бегу, бегу, а вокруг бомбы, взрываются... Знаешь, о чем я думаю, когда просыпаюсь после таких снов? Я Бога или еще кого-то там благодарю за то, что у нашего поколения войны не было. Это страшно. Мы даже представить себе не можем, как это страшно. Смотри,— Оля указала подбородком на низенькую коренастую женщину, могучая грудь которой была увешана орденами и медалями, переливающимися в бликах фонарей.

— Да,— сказал я.

— А почему ты свой орден никогда не надеваешь?— спросила Оля.— Ты его взял с собой?

— Взял,— сказал я.

— А когда мы поедem к твоему Онегину?

— К Игорю Ленскому? Съездим.

7

Мы вышли на набережную. Немного постояли и пошли вдоль чугунной ограды. Вода была темно-бурой, в ней отражались сморщенные, точно подушечки пальцев от стирки, огни. Я взял Олю за руку, а она вдруг рассмеялась.

— Ты что?

— Ничего. Я просто вспомнила, как весной в девя-

том классе мы с тобой вот также вдоль Москвы-реки бродили. Помнишь? И ты боялся взять меня за руку. Это в тот вечер было, когда тебя комсоргом избрали. Ты такой важный был на собрании, такой смешной.

— А потом мы сидели на скамейке, и я все-таки взял тебя за руку.

— Нет, я первая. Туча над Ленинскими горами была похожа на медведя, и я сказала тебе об этом, взяв за руку. А ты сделал вид, что не заметил. И сказал, что не на медведя похожа туча, а на слона.

— Она и была похожа на слона. С хоботом.

— Не было никакого хобота.

— Был.

— Не было. Прекрати со мной спорить!

— Почему?

— Потому что я женщина, ты должен мне уступить.

— Ладно. Если женщина просит...

— Прекрати пошлить.

— Песня такая есть. В армии ее любят.

На большой скорости пронесся «ЗИЛ», чуть не обдав нас водой из лужи.

— Идиот,— погрозила ему кулаком Оля.— Пьяный, наверное. А что бы ты сделал, если бы он меня сейчас сбил? — спросила она. И добавила с ударением: — Насмерть.

Я не ответил.

— Слушай,— сказала Оля.— Я тебя все хотела спросить... Раньше, конечно, надо было, но лучше поздно, чем никогда. Там у тебя был кто-нибудь?

— Ты об этом у меня уже раз двадцать спрашивала.

— Да? Не помню. Ну так был?

— Где?

— Ну, в госпитале, скажем. Ты ведь больше месяца там пролежал. И такие письма мне писал оттуда хорошие. А один парень...

— Какой?

— Неважно, ты его не знаешь.

— Какой парень?

— Боже мой, ну, приятель Андрюшки Воронина, на одном курсе учатся. Они, кстати, через два месяца лейтенантами запаса уже будут.

— А...

— Что — «а»? — посмотрела на меня Оля. — Что значит это твое «а» идиотское? Ты ревнуешь? Так и скажи, что ты ревнуешь и веришь всему тому, что про меня наговорили тебе перед свадьбой.

— Я не верю, — сказал я.

— Многозначительные твои междометия мне надоели, понятно?

— Понятно. И что же этот парень?

— Он тоже служил в армии и у него был роман с медсестрой. Он рассказывал, как бегал к ней в само-волку по ночам. А там у вас, говорят, любая за двадцать чеков...

— Он был там?

— Нет, он под Москвой служил.

— А что он еще говорит?

— Что все оттуда фирменное тряпье привозят...

— Я же тебе привез свитер.

— Он ведь велик мне, его папа носит. А кроме свитера...

— Ничего, — сказал я.

— Но это неважно. Так как насчет медсестричек? Как ее звали?

— У меня не было романа с медсестрой. И вообще никаких романов не было.

— Ах да, — улыбнулась Оля. — Я и забыла. Ты же страхолюд такой на фотографиях. Слава богу, я тебя в жизни лысым не видела. Близко бы не по-дошла.

— А Андрея Воронина все ж таки заставили подстричься на военной кафедре, — сказал я вдруг зло, с армейской интонацией, так, как разговаривают между собой «деды» в курилке, обсуждая ершистого салагу. — Классная была шевелюра.

Оля посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Пошла по набережной.

— Оль.

Она молчала. Я взял ее за руку, думая, что она вырвет свою руку, но она не вырвала, и от этого почему-то защемило, тяжело и темно стало на душе. То же было в госпитале, когда я лежал без сна и думал о ней: где она, с кем она?

Хорошенько выспавшись — для этого нужны были как минимум две подряд ночи от и до, — помывшись в

бане, я порой не знал после отбоя, куда деваться, быть готов был, как шакал, зубами стискивал что попадалось, однажды бушлат, который был вместо подушки, насквозь прокусил, но тетя Дуня все спала на сеновале, не подозревая ни о чем. И снилась она мне часто. А Оля не снилась. Лишь однажды, кажется, за все два года, за семьсот тридцать восемь ночей она пришла ко мне, в коротеньком летнем платьице в горошек, которого я никогда на ней не видел, а на голове у нее был венок из васильков и ромашек. Я что-то похожее в кино видел. Она опустилась на корточки, наклонилась надо мной, я хотел поднять руку, чтобы дотронуться, но рука была слишком тяжела или ее вообще не было, как у Резо, моего соседа по койке справа, уверявшего медсестер, что советский больной — самый здоровый больной в мире. Оля улыбалась, лицо ее было освещено солнцем, скользили тени от деревьев, гладили ее щеку, ее губы, ее шею. Ясные спокойные глаза мне говорили что-то нежное, и я отвечал, долго мы вели этот безмолвный разговор и понимали друг друга, как никто никогда, а едва губы ее разомкнулись — я проснулся. Это была не Оля. И не тетя Дуня. Наклонилась надо мной рано утром врачиха, которая заходила к нам в палату накануне, и у Резо кончик носа побелел, Шухрат застонал, у всех нас дух перехватило, как только мы ее увидели, потому что была она той самой, фотографию которой мечтает наклеить себе в дембельский альбом и обвести разноцветными фломастерами любой солдат, русский, белорус, грузин, латыш, — и независимо от того, кому сколько осталось до дембеля. Она была величественной и неприступной, как английская королева. Говорили, что жена генерала. Звали ее Анна Алексеевна. Однажды после отбоя я вышел из палаты, доковылял до туалета, покурил. На обратном пути увидел свет в ординаторской, услышал голоса — майора, командира хирургического отделения, и ее глубокий, низкий, ироничный голос: «Ты сам знаешь, а ля гер ком а ля гер, на войне как на войне, и ничего бесплатно не дается... Что? Повтори. Ха! За такую женщину? А ты меня случайно не спутал с одной из своих медсестер? Ну, хорошо, хорошо. Запри дверь. И свет потуши...» Я не спал в ту ночь. Под храп Резо, протяжный и печальный, как грузинская

песня, я глядел в потолок палаты. И целый год потом слышал ее голос за дверью. А майору на утреннем обходе на вопрос, как я себя чувствую, так ответил, что через десять минут был выписан из медсанбата и следующей же ночью на боевой в «зеленке» едва не заглотил пулю — она пролетела в сантиметре от верхней губы; но я даже пожалел, что не заглотил.

— А все-таки ты в армии поглупел, — сказала Оля в темном глухом переулке, выходящем на проспект. — Надоело. Пошли в гостиницу.

— О чем ты думаешь? — спросил я, помолчав.

— Ни о чем.

— Так не бывает.

— Бывает, — вздохнула она. — Я есть хочу.

Ресторан в гостинице на наше счастье был открыт.

— Что вы нам посоветуете? — спросила Оля массивного сочногубого официанта.

— Посоветую на диету сесть, — сострил тот. — Не потому, что вам это необходимо, девушка, а потому, что знаю нашу кухню.

— А все-таки? — сказал я.

Официант пожал круглыми плечами.

— Берите что хотите, — сказал. — Все в меню указано. И побыстрей, а то кухня закроется.

— Принесите, пожалуйста, порцию икры... — начала Оля, но сочногубый ответил:

— Икры нет.

— Два салата из огурцов...

— Нет огурцов. Из салатов — только «Фирменный».

— Хорошо, — согласилась Оля. — Ромштекс возьмем или бифштекс?

— Ни того, ни другого. Гуляш. Если остался. И рыба.

— Какая еще рыба? — сказал я.

— Жареная, — не взглянув на меня, ответил официант. К нему подошел модный парень в широких мраморных штанах, что-то шепнул, и они удалились; вышел парень из ресторана со свертком в руках. — Ну так что решили? — спросил нас официант.

— А взбитые сливки у вас есть?

— Вы что, смеетесь, девушка?

Оля, огорченно отложив меню, заказывала то, что осталось на кухне, а я сидел и смотрел на наш столик как бы со стороны. Возвышается над нами этот мордастый официант, и глубоко ему плевать на нас. Он даже не презирает, мы для него пустое место. И ни черта мы не можем, потому что пикнем — уйдем голодными. А он уверен в себе, как гранитная глыба. Но даже не это обидно, другое: что Оля, моя гордая, капризная, своенравная Оля, говорит с ним, глядит на него снизу, будто провинившийся ребенок на строгого воспитателя в детском саду. Да и я тоже.

8

Молча мы съели салат «Фирменный» из вареной картошки с луком, взялись за гуляш, почти холодный, с немыслимой подливкой. В армии, конечно, обо всем этом я и не мечтал. Но армия есть армия. Один раз, правда, Шухрат нам приготовил потрясающий плов — когда мы раздобыли морковь, черный молотый перец, свежую баранину в виде месячного барашка, изюм... Всю ночь пировали. Но это один только раз.

— Какое-то невеселое у нас с тобой свадебное путешествие, — заметила Оля.

— Почему?

— Я и сама думаю: почему? — она подняла глаза. — Может быть, действительно подождать надо было до июня? Хоть потеплело бы. Как ты думаешь?

— Я думаю, что ждать не надо было, — ответил я. Настроение мое поднималось с каждым кусочком гуляша и глотком вина. — Давай еще выпьем.

— Давай, — сказала Оля и, отставив мизинец, двумя пальцами взяла фужер за высокую граненую ножку. — Выпьем, — глаза ее казались совсем темными, глубокими, и я видел, как усталость и раздражение в них понемногу переливаются во что-то иное, то, что я любил и чего не находил в ее глазах давно. — За что? За любовь, — ответила она себе и выпила. Сморщила нос. — Все-таки дикая кислятина — этот твой «Рислинг».

— Мой,— улыбнулся я, коснувшись под столом ее ноги, а она смотрела на меня сквозь блестящее стекло фужера.— Оленька,— шепотом я назвал ее, как прежде, до армии.

— Что, Коленька? — прошептала она в ответ.

— Я тебя люблю.

— Спасибо,— она опустила фужер.— Помнишь, в детстве была игра, кто кого переглядит?

— Помню.

— Я у всех выигрывала. Давай.

Она выиграла. Я глядел, глядел, и мне стало казаться, что я тону в ее зрачках, и пошел бы ко дну, не моргнй я и не спрячь глаза, как только в зале приушили свет.

Оля захлопала в ладоши.

— Закругляйтесь, молодые люди,— сказала официантка, подсчитывая выручку на счетах.

— У нас еще мороженое с вареньем,— вспомнила Оля.

Я отправился на поиски сочногубого и не сразу отыскал его в лабиринтах.

— Мороженое принесите, пожалуйста.

— А уже нет мороженого,— почему-то с вызовом ответил он.— Закрыто все...

— Мы ждали больше получаса,— сказал я тихо.— Принесите, пожалуйста.

— Ты что, угрожаешь мне? — он поднялся со стула.

— Я вам не угрожаю,— постарался улыбнуться я.— Может быть, у меня просто голос такой. Мы заказали мороженое и...

— А в милиции не хочешь мороженого покушать? А?

— Не понял.

— Сейчас поймешь. Володя,— позвал он, и из глубины лабиринтов появился жующий милиционер.— Здесь пьяный.

— Я пьяный? — Возможно, потому, что бывал в ресторанах всего несколько раз в жизни, я опешил.— Я?

— В чем дело, гражданин?

Я хотел объяснить, но кровь бросилась в голову, задрожало что-то, точно закипая, вверху грудной клетки, и я в самом деле, должно быть, стал похож на

пьяного. Со мной теперь часто такое, даже из-за пустяков.

— Пройдемте,— милиционер, шуплый человечек лет тридцати с рыженькими усиками, цепко ухватил меня за руку выше локтя и повел в зал.

— Что ты натворил? — Оля испуганно вскочила, уронив стул.— Что он натворил, товарищ милиционер?

— С вами гражданин?

— Да, конечно, мы... у нас свадебное путешествие, товарищ милиционер,— выпалила она, показывая обручальное кольцо.

— Оля,— сказал я.— Ну при чем здесь?

Милиционер крепко держал меня.

— Отпустите его, пожалуйста,— попросила Оля, и он отпустил, готовый в любой момент снова схватить.

— Документы у вас имеются?

Оля поспешно вытащила из сумочки паспорт. Проверив, милиционер потребовал и мой паспорт. Из-за столиков на нас смотрели с любопытством.

— Мы здесь, в гостинице живем,— сказала Оля.— В триста седьмом номере.

— Ясно,— сказал милиционер.— Чтобы больше этого не было.— Он вернул мне паспорт и ушел.

Появился официант.

— С вас одиннадцать восемьдесят восемь.

Я заплатил. Оля вышла из ресторана, а я дождался сдачи.

— И две копейки? — осведомился сочногубый, бросив гривенник. Монетка прокатилась по скатерти и упала на пол.

— Поднимите,— сказал я.

Ненавистно пыхтя, он поднял.

— Что, две копейки тебе еще?

— Да,— сказал я.— Еще две копейки.

Оля сидела на диване в фойе. Там было много народу, в основном фронтовики. Разговаривали они в полный голос. Смеялись.

— Зачем ты? — спросил я.

— Что?

— Про свадебное путешествие.

— Ты можешь мне объяснить, что произошло?

— Я сказал, что он забыл принести мороженое.

— И все?

— И все.
— Не ври.
— Я не вру.
— Ладно. Я так испугалась, когда он тебя вывел.

— Чего ты испугалась?
— Не знаю. Сама не могу объяснить. Ты очень нервный какой-то.

— Пошли?
— Подожди. Посидим немножко здесь.
— Хорошо,— я сел рядом с ней, сунув руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, с которой никак не мог справиться.

Помолчали, глядя на фронтовиков, толпящихся у стойки и заполняющих бланки за низенькими столиками.

— Их три процента всего осталось,— сказала Оля.— Даже меньше.

А из нашего спецназа, подумал я, каждый третий вернулся на родину грузом номер 200 на «черном тюльпане». Но тут же выругал себя за то, что не сдерживаю обещания не вспоминать. И опять вспомнил — когда Оля заговорила о том, как в восьмом классе меня забрали в милицию за драку с мальчишками, отнявшими у нее на улице банку консервированного компота,— я вспомнил другую драку. Если можно так назвать.

Была ночь. Нас с Витей Левшой окружили на сопке в лазуритовых горах. Сколько их было, мы не знали, а они знали, что нас двое, и хотели взять живьем. Мы отстреливались, пока были патроны. «Шурави командос, сдавайся!» — заревел в тишине мегафон. А потом на русском — и я узнал голос...

— О чем ты опять? — спросила Оля.— Пошли в номер. Ужасно пошло звучит, да? В номерá...

Мы подошли к лифтам, и нас окликнули сзади, из-за стойки:

— Ребята, вы не из триста седьмого будете?

— Будем,— ответил я, спиной почувствовав недоброе. Голос у администраторши был липкий и приторный, как патока.

Открылись двери лифта. Надо было нам войти, подняться, запереться в номере, тогда бы бабушка надвое еще сказала. Но мы этого не сделали. Мы по-

дошли к стойке, держась за руки, и администраторша с сахарной улыбкой на морщинистом напудренном лице попросила у нас, кивая на фронтовиков, прощения за то, что приехали участники Великой Отечественной войны, однополчане, должны были приехать еще вчера, но приехали сегодня, только что, а номера все заняты, из пятисот восемнадцатого пришлось женщин переселить, из четырехста третьего... и вот триста седьмой двухместный очень нужен.

— Вы уж простите, молодые люди, мы виноваты, но вы нас простите, завтра утречком все уладим, я обещаю, а эту ночь как-нибудь...

Я отошел. Оля что-то говорила администраторше, а потом вдруг громко незнакомым мне, чуть ли не истеричным голосом:

— Да дело не в том, что мы не можем провести ночь друг без друга! И вообще, какое вам до этого дело?

Администраторша продолжала размазывать по стойке патоку, пока Оля не сказала:

— Тогда мы вообще из вашей гостиницы уйдем.

— Что ж,— равнодушно ответила администраторша.— Дело ваше. Галь, выпиши квитанции.

— Не нужно нам никаких квитанций!

С трудом мне удалось закрыть Олин чемодан, потому что запихнула она туда платья и юбки как попало. Мы спустились, но мне пришлось вернуться, потому что Оля оставила в ванной тапочки.

— Давай лучше вернемся,— сказал я на улице.

— Ни за что. Я себя не в дровах нашла. А на твоём месте я бы не молчала, а...

— Что?

— Если бы я не знала, то я бы ни за что не поверила, что ты воевал.

9

Заехав в одну, во вторую гостиницу и услышав: «Нет мест», мы отвезли вещи на вокзал в камеру хранения и снова попробовали устроиться в гостиницу.

— Двухместный? — переспросил швейцар, сонный дядя с пушистыми усами, похожий на Сталина с той фотографии в газете на потолке у Филиппыча.

— Да,— ответил я,— мы муж и жена.

Швейцар, зевая, долго изучал наши паспорта. Свеля фотографии с оригиналами.

— Только что, значит, расписались?

— Да. Вчера.

— Позавчера,— поправил швейцар, взглянув на часы.— А почему так поздно паспорт получил? — он подозрительно прищурил глаз.

— Да не сидел я, папаш,— улыбнулся я,— в армии служил.

— В армии? А где именно? В каких войсках?

— Это имеет значение?

— Ладно, в армии так в армии. Сам служил, давненько, правда.

— Вы нас поселите?

— Нет,— сказал он, но возвращать паспорта почему-то не торопился.

— Что — нет?

— Двухместных.

— Тогда одноместный.

— И одноместных нет.

— А что есть?

Усы швейцара, глаза, все лицо его поползло вдруг куда-то мимо нас, мы и оглянуться не успели, а он уже расшаркивался у дверей, за которыми маячили яркие одежды. Это были пьяные молодые иностранцы. Один из них поскользнулся и рухнул бы, не подставь ему швейцар, низко пригнувшийся, свою спину. Чаевые, должно быть, выразились в конвертируемой валюте, потому что вернулся дядя улыбающимся.

— Суоми,— с отеческой нежностью в голосе пояснил он.— Так вам надолго, ребяташки?

— Да хоть на ночь.

— А точнее?

— Дня на три,— ответила Оля.

— Паспорта я ваши оставляю. Вот вам ключи. Как ехать — сейчас нарисую. Впрочем, уже поздно. Берите на площади такси и поезжайте. Двухместных номеров нет, зато двухкомнатная квартира со всеми удобствами в наличии,— он подмигнул.

— Цена? — спросил я.

— Ну... по два червончика, скажем, устроит в сутки?

— С каждого?

— Да что я, Змей Горыныч какой,— разулыбался дядя.— Живите— любите на здоровье. Мы с женой на дачу перебрались, так что никто вас не побеспокоит. Белье в шкафу. Рядом универсам, лес прекрасный. Хоть весь медовый месяц живите. Только не ссорьтесь,— он снова подмигнул.— По пустякам.

— Хоп,— сказал я.

Мы взяли из камеры хранения чемодан и сумку и поймали такси.

— Не, ребят,— зевнул таксист.— За один счетчик вас туда никто не повезет. Обратного порожняком пить.

— Ладно, два счетчика,— согласился я.

Мы погрузили вещи и поехали по ночному городу.

— Мне так стыдно,— прошептала Оля.— За то, что я в гостинице устроила. Фронтовики, пожилые люди, им ночевать было негде, а я... Но когда она начала про то, что мы как-нибудь переспим друг без друга одну ночь, и все стояли, слушали... Я не выдержала. Я хамка, да? Я эгоистка, да?

— Не бери себе в голову.

— Но все к лучшему.— Оля ущипнула меня за палец.

— Конечно.

— Будем жить одни в двухкомнатной квартире. Я не люблю гостиницы.

— Я тоже.

— В них все чужое, казенное.

— А там, куда мы едем?

— Мы представим себе, что это наша квартира.

— Хорошо,— сказал я, привлекая ее к себе.— Представим.

— А на самом деле, если даже папе и удастся прожить, то все равно квартира у нас будет не раньше чем через три года. В лучшем случае. Ведь размениваться-то они ни за что не захотят. Ума не приложу, где мы с тобой будем жить?

— Что-нибудь придумаем.

— С родителями? Или в комнате с твоей мамой?

— Снимем.

— Ты не знаешь, что это такое — снять в Москве квартиру или комнату. Да и на какие шиши, интересно? На мою стипендию?

— И на мою.

— Итого — восемьдесят, пусть девяносто. Это если ты еще поступишь.

— Поступлю.

— А квартира стоит не меньше сотни в месяц. И это, естественно, не в центре, а где-нибудь в Коньково-Бирюлеве. Или еще дальше.

— Ничего,— сказал я.— Что-нибудь придумаем.

— Думай, думай... муж. Объялся груш. Я точно знаю только одно: с родителями нам не жить.

— Подрабатывать буду. Может, сразу же на вечернее поступлю.

— Ну и толку? Что ты умеешь делать-то? Вагоны разгружать? Ведь ты до армии ничем не занимался, кроме своего дзюдо.

— Электриком работал.

— Да, я помню,— рассмеялась Оля.— Без году неделя. А знаешь, сколько у папы профессий? Двенадцать! Он и шофер, и плотник, и... Ладно, что об этом говорить. Какой час?

— Четверть второго,— сказал я, глядя в окно на темные дома и тускло светящиеся через один фонари.

— Я завтра весь день просплю. А что мы вечером будем делать?

— Посмотрим.

Машина свернула с проспекта на бульвар, потом на узкую неосвещенную улочку, въехала через арку во двор, за которым город кончался и начинался лес.

Я заплатил, и мы вышли. Светились из всего огромного панельного дома только два окна на восьмом этаже.

— Это наши,— со смехом сказала Оля.— Нас ждут.

— Кто?

— Не знаю. Домовой. Или ведьмы. Но я уверена, что ключи у нас именно от той квартиры. Ведь нам везет с тобой.

Мы поднялись, и сразу стало ясно, что Оля права. Из-за обитой дерматином двери с номером, который написал нам на листочке швейцар, доносилась рок-музыка, топот и пронзительно, хрипло кто-то визжал.

— А может быть, мы дом перепутали?

— Тридцать девять, корпус два.

— Что будем делать?

Сказать я ничего не успел — дверь распахнулась, выбежала зареванная, с размазанной по лицу краской девушка, за ней здоровенный волосан-бородач в свитере и полосатых трусах.

— Заходите, ребят,— басом бросил он нам через плечо и убежал, сотрясая лестницы, вниз.

— Зайдем?

— А что нам остается? — улыбнулась Оля.— Здесь хоть весело, судя по всему.

— День Победы уже обмывают.

— Чем это пахнет?

— Что-то знакомое...

10

Мы вошли и через пять минут сидели на диване между длинноволосыми, мутноглазыми, сонными девушками и такими же парнями. Пили сухое вино из двух стаканов, потому что больше посуды не было. В соседней комнате ревел магнитофон. На кухне выясняли отношения — кто-то кого-то предал и продал, но пытался доказать, что все как раз наоборот.

— Здорово, да? — толкнула меня под локоть Оля. Глаза ее блестели.— Я тебе не говорила, я как раз об этом мечтала, когда мы таскались из гостиницы в гостиницу: чтобы шумная большая компания, чтобы музыка. Я люблю. Мы ведь с тобой совсем еще молодые, да?

— Конечно,— согласился я.

— И мы ведь будем иногда вот так гулять?

— Будем.

— Здорово, что мы никого здесь не знаем, и нас никто не знает, но никто даже не удивился, что мы пришли почти в два часа ночи.

— По-моему, здесь ничем не удивишь.

— Тебе не нравится?

— Нравится.

Подошел волосан-бородач, успокоивший на лестнице девушку, которая оказалась хороша собой, с монгольским разрезом больших глаз. Он посадил ее рядом с нами, она закинула ногу на ногу, демонстрируя

белые ажурные колготки, и попросила спички. Я ответил, что не курю. Она стала разглядывать шрам у меня на запястье.

— Больно?

— Нет,— сказал я.

— Я умею снимать любую боль,— она прикоснулась к шраму кончиком мизинца.

— Она правду говорит,— сказал бородач.— Кстати, что вы как не родные сидите? Меня Митя зовут,— он пожал руку сперва Оле, потом мне.

Он оказался племянником переехавшего на дачу швейцара. Мы сказали, что из Москвы, ночевать нам негде. Племянник ответил, что никаких проблем быть не может. И добавил утробным басом: «Чуваки».

— Вы танцуете? — он взял Олю за руку и увел.

Сосед, прыщеватый очкастый юноша лет восемнадцати, стал яростно мне доказывать, что лучше «Дип пёрпл» в мире группы нет и быть не может. Я согласен кивал, а он хватал меня то за локоть, то за колено, напевая какие-то мелодии. Потом вдруг исчез, вернулся и потребовал, чтобы я слушал, но за стеной сменили его любимую кассету, и он снова исчез. Теплой ногой к моей ноге прижалась девушка с монгольскими глазами, с торчащими розовыми и зелеными прядями завитых волос. Спросила, в чем я вижу смысл жизни и уходит ли, на мой взгляд, талант, если он был, вообще, что такое талант? Парни смотрели сонными нетрезвыми глазами. Оля все не появлялась. Девушка, которую звали Анджела, вывела меня на середину комнаты, и мы стали танцевать, не обращая внимания на музыку. Она прижималась ко мне. За столом спорили о каком-то знаменитом гитаристе, который к нам в страну почему-то никогда не придет, о фильме, который у нас никогда не пойдет. И еще о многом спорили, неожиданно соскальзывая с темы на тему. А я молчал, но не только потому, что мне нечего было сказать. Снова, как в тот вечер в начале февраля, когда мы собирались классом у Андрея Воронина, я чувствовал себя в компании лишним. Мне трудно будет забыть, как смотрели на меня одноклассники, и как я пытался в разговоре под них поддаться, шутить, но ни черта не получалось, и как потом на кухне и на лестнице расспрашивали, будто обязаны были, и дев-

чонки учили танцевать, словно выполняя комсомольское поручение, я чувствовал, что все они и жалеют меня и им скучно, и чувствовал, как постепенно перестают они меня замечать, заиклившись на смерти,— «Не заикливайся, старичок, на смерти,— посоветовал мне одноклассник,— жизнь продолжается»,— меня, состарившегося за два года лет на двадцать, они, занятые своими разборами, и я уж вовсе чужим, ненужным становлюсь, уйди я — никто бы и внимания не обратил, кроме Оли; но тут подошла Наташка Самкова, что-то сказала и потом вдруг: «Мне так жаль всех вас, которые были и теперь там...» — я помню, как потемнело у меня в глазах, не столько от смысла слов, сколько от интонации, от взгляда ее, затрясло всего изнутри, и я едва с собой совладал, а то бы не знаю, что сделал. Анджела, вихляя бедрами, снова потащила меня танцевать и прижималась еще крепче, и спрашивала, нравятся ли мне ее духи. А Оля все не появлялась. И потом, совсем недавно встретил у метро Зинаиду Викторовну, нашу классную руководительницу, у которой сын служил в шестьдесят восьмом году в Чехословакии, и она нам много рассказывала на уроках новейшей истории о том, как счастливы были чехи, когда наши танки вошли в Прагу и стали на Вацлавской площади,— а тут вдруг: «Мальчик...— и слезы на старушечьих глазах,— я знаю, все знаю, мне девочки говорили, что ты был тяжело ранен... Бедный мальчик...» Взяв меня в углу за руки, глядя в глаза, Анджела читала с придыханием свои стихи без рифм и без смысла. Потом потребовала, чтобы я сделал критический разбор. Потом потащила меня на кухню и познакомила со своими братьями, один из которых был эстонцем, а другой — жгучим кавказцем. Анджела сказала, что я ей симптоматичен, что она порою чувствует во мне то, чего катастрофически не хватает ей в других особях мужского пола. Кавказский брат сверкнул золотыми фиксами. Обругав братьев, взяв с подоконника сумку, Анджела вывела меня на лестницу и, погладив меня ладонью по груди, сказала, что хочет со мной покурить тет-а-тет. Вышел на площадку очкастый юноша, спросил, не могу ли я достать «Хедвотэр» за любые бабки. Анджела лениво покрыла его матом и прогнала. Села на ступеньку. «Хоть с тобой поторчим по-человечески. Ты с войны вернул-

ся?» — «Как ты узнала? Тебе сказали...» — «Никто мне ничего не говорил. Я осколки в тебе вижу». — «Правда?» — «Глупыш, — прошептала она, облизывая пухлые губы. — Я же экстрасенс. Знаешь, у меня никогда не было мужчины, начиненного железом. В обычном, пошлом понимании у меня вообще мужчин не было, потому что я страшусь пошлости. Я девочка. Пойдем наверх». — «Зачем?» — «Пойдем, дурак, пока я не передумала!» Я покорно поднялся за ней. На лестнице, ведущей на чердак, она усадила меня, а сама встала на колени, но едва лишь прикоснулась ко мне со словами «вот здесь осколок и здесь» — я вскочил. «Боишься?» — «Просто не хочу». — «А как ты хочешь, чтобы я тебя приласкала?» — «Никак». — «Чеки у тебя есть?» — «Чеки тебе нужны?» — «Нужны, — сказала она, глядя мне в глаза, и зашипела, похожая на гюрзу: — Нужны! Импотент проклятый, думаешь, я спесаль подъездная, да? Ты способен лишь убивать женщин и детей, ненавижу, ты весь в крови, и не надейся, не отмоешься, фашист...» — «Заткнись!» Я схватил ее за горло, но отпустил, она обмякла, но сопротивлялась и не сказала больше ни слова, открыла трясущимися пальцами сумочку, вытащила папиросу, прикурила — и тут только я понял, почему такой странный, хорошо знакомый мне запах стоит в квартире. Хотя должен был понять и раньше. Бросился по лестнице вниз, в квартиру, в другую комнату и не сразу в полумраке разглядел Олю, которую с двух сторон обнимали Митя и другой парень с вовсе уже осоловевшим взглядом. Племянник гладил Олино колено, юбка ее была задрана, рубашка на груди расстегнута. Прикрыв глаза, откинувшись на спинку дивана, она курила папиросу — медленно, глубоко затягивалась и еще медленней выпускала густой дым изо рта, изломанного, с размазанной вокруг помадой, обезволенного, согласного на все. Я подошел. Взял папиросу, передал ее Мите, пробасившему: «Присоединяйся, старикаш». Я стал поднимать Олю с дивана, но появилась Анджела: «Куда ты ее тянешь, что ты с ней делать собираешься, импо-82, в ванночке купать?» — «Пошла ты!..» — рявкнул я. «Ты нашей Анжелочке не груби, старикаш», — сказал Митя и, не вставая с дивана, ударил меня ногой в живот. Я отлетел к стене, бросился на него, но сзади шарахнули по голове чем-

то тяжелым, вроде кассетного магнитофона, я упал, били ногами, Андже́ла, визжа, все норовила попасть мне каблуком в висок или в глаз, я откатился под стол, поднял его спиной, припечатал к стене двоих — и тут уж им не светило: племянника я сразу и надолго отключил, остальные волосаны убежали.

11

Светало. Я шел быстро, слыша за собой торопливый, сбивчивый стук каблуков. Я не оборачивался, пока не дошли до бульвара. Там я остановился, чтобы сменить руку, — чемодан казался тяжелее, чем днем.

— Подожди, — сказала она со злостью. — Я устала. Я посмотрел на нее.

— Застегнись.

Она неверными пальцами застегнула пуговицы.

— Извини, — сказала она фальшивым, развязным голосом.

Я пошел по бульвару, и она пошла за мной. Она спотыкалась.

Я шел широким размеренным шагом и, как на марше, старался не думать о том, что позади, что впереди, уворачиваться от недобрых мыслей, летящих навстречу прямо в лоб из предрассветной мглы. Небо над крышами высвечивалось. Зеркально блестели на верхних этажах черные окна и лужицы на асфальте с отражающимися в них бледно-фиолетовыми фонарями. Пахло городским, с бензиновой примесью, туманом, влажной землей и травой. Я свернул на проспект.

— Я больше не могу, ты слышишь? — сказала Оля четверть часа спустя. Голос у нее был уже другим. — Ты слышишь? Коля. Я не могу больше. У меня болят ноги.

Я не оборачивался.

— Коля. Ну пожалуйста... Ну у меня правда очень болят ноги, я не могу! Слышишь? Я не пойду дальше. Иди один.

Шагов через сто, возле клумбы с тюльпанами она опустилась на скамейку и сняла туфли. Я прошел вперед, остановился возле стенда с газетами.

«На фоне знаменитого моста Тауэр в Лондоне был

дан старт необычайного морского плавания. В день своего двадцатилетия англичанин Бил Нийл отправился отсюда в дальний путь к берегам Балтики. В качестве средства передвижения он воспользовался... обыкновенной ванной, которую почти каждый городской житель имеет у себя дома. На «корме» ванны установлен легкий мотор».

А где я был в день своего двадцатилетия? В санчасти валялся с ангиной, которую заполучил на войне в горах. И ребята притащили мне полный рюкзак винограда, крупного, продолговатого, вроде «дамских пальчиков», и кишмиша без косточек. Никогда мне больше такого сладкого винограда не поесть. Я об одном жалел — что на дембель нельзя будет с собой пару рюкзачков винограда захватить, чтобы угостить Олю. А какие абрикосы там были! А дыни! Капитан-танкист, приехавший на второй срок, сказал: «Прихожу я у себя в Минске на рынок, приценился — вот это ни фига себе, думаю. Тут же и решил сюда вернуться. Хрена вам лысого, а не двадцать пять рублей за дыню! Один афгань еще куда ни шло. И то в базарный день. Про гранаты уж не говорю».

О чем я думаю? Нарочно, чтобы о другом не думать. Оглянулся — Оля смотрела на меня. Снова стал читать газету, но не читалось. Прошел еще шагов тридцать. Остановился.

— Коль, — позвала она.

Глупым показалось обижаться на нее, хотя под горлом до сих пор что-то клокотало. Но я чувствовал облегчение после разминки — впервые с тех пор, как вернулся. Я подошел. Она снизу жалобно смотрела на меня.

— Сядь, — тихо сказала.

Я сел.

— Поближе, — сказала она.

Я пододвинулся.

— Еще ближе, — прошептала она, подбирая на скамейку ноги и медленно склоняя голову мне на плечо. — Обними меня. Пожалуйста. Как ты страшно дерешься... Не обижайся. Я не хотела, честное слово.

— Чего не хотела? — сказал я.

— Ничего,— она посмотрела на меня. Глаза ее, усталые, нежные, были так близко, что я отвернулся, потому что голова начала неприятно кружиться.— Ты когда-нибудь сможешь меня простить?

Я молчал. На тополь грузно уселась ворона. Замаячила где-то во дворе кошка. Прогрохотал за домами грузовик, должно быть, с прицепом. Снова сомкнулась над городом тишина.

— Я просто хотела,— едва слышно проговорила Оля, ластясь, как котенок,— хотела почувствовать то же, что и ты.

— Я?

— Я сперва не знала, что они мне подсунули, а потом... Ну прости меня!

— А потом?

— Хочешь, я сяду к тебе на колени?

— Садись. А что было потом?

— Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Ты думаешь, я совсем дурочка и не пойму. Но я не дурочка. Нет. И мне больно, что ты так обо мне думаешь. Тебе очень нужно кому-нибудь рассказать. Отца у тебя... ты его ни разу не видел с тех пор, как вернулся. У мамы своя семья, свои заботы, хотя она и любит тебя. Друзья? Те, с кем ты дружил до армии... в общем, они не друзья уже. Думаешь, я не понимаю? Павел Владычин? Но, во-первых, он старше тебя, а во-вторых, вы были там, теперь здесь... Ты мучаешься, потому что чувствуешь себя одиноким. Совсем одиноким. Я ведь не совсем тебе чужая. А? Ну ответь же!

— Не совсем.

— А я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, что я знаю. Про то, как там живут. Знаю, что там курят анашу, потому что ее полно. Она там вроде как у нас приправы к столу.

— Это тебе тоже однокурсник Андрея Воронина рассказывал?

— Нет. Ведь ты курил, правда?

— Пробовал,— сказал я.

— Вот и я захотела попробовать. Чтобы... прогнаться, хоть как-то приблизиться к тебе. Ты далеко от меня. Я не говорила, думала, ты постепенно вернешься, станешь самим собой... Понимаешь?

— Не понимаю.

- Не будь жестоким. Я люблю тебя.
- Да. Я видел. Там, на диване.
- Не надо, я прошу. Я тебя очень прошу.
- Ладно. Не буду.
- Расскажи.
- Что?
- Где и как ты ее впервые курил? И что ты чувствовал? — Она устроилась на скамейке поудобней, укрыла ноги юбкой.
- Поспи лучше немного.
- Я не хочу спать.

Что я мог ей рассказать? После двух суток, проведенных под снегом и дождем в засаде, мы начали «операцию возмездия». Но сами попали под пулеметный огонь и реактивные снаряды подошедшего по ущелью со стороны границы подкрепления. Вырвались с потерями. Отбить удалось всех, потому что сколько ушло на боевую операцию, столько должно и вернуться. Вечером, добравшись до лагеря, отправив трупы в Джелалабад, согрели на сухом спирте консервы, поели немного и накурились, и хохотали, вспоминая, как наш молодой — «дух» — Санников, впервые попавший под такой обстрел, пытался укрыться от «утеса» — крупнокалиберного пулемета — за жиденьким кустиком и как взводный тащил его оттуда за ногу, а «дух» брыкался. Страшен был тот хохот в ночи. Игорь Ленский пел под гитару, и после каждой фразы мы взрывались, хотя смешного ничего не было. Миша Хитяев на руках бегал. И как-то вдруг все схлынуло. Почернело на душе. А потом мы лежали с Юрой Белым рядом в спальных мешках, он рассказывал о мореходке, об океанских теплоходах со многими палубами, с бассейном, с успокоителями качки, а меня мучило, чуть не выворачивало, и я изо всех сил старался держаться, не показать Юрке. Он рассказывал о Флориане, острове, где самые красивые в мире женщины и круглый год цветы, и ананасы с бананами, и луна в полнеба. «Будь оно все проклято», — думал я, видя лунную дорожку, уходящую за горизонт, и как выплескиваются на камешки серебристые языки волн, поблескивают водоросли, и обнаженных, с распушенными волосами мулаток, купающихся при луне. Я все и всех ненавидел в ту минуту. Меня колотило изнутри. В горах хохотали, рыдали и выли шакалы. Шумела под

ухом рация. Было очень холодно. Я старался дышать как можно глубже, наполняя легкие воздухом, словно надувая воздушные шары, но чтобы Юрка не услышал. Понемногу дрожь унялась. Я смотрел на звезды и думал о том, что несколько часов назад застрелил человек двенадцать из АКСа и столько же, если не больше, уложил гранатами, и потом под скалой добил одного ножом в ухо. Но нет во мне жалости. Ничего нет. Жалость, страх, сомнения — все это я погасил в себе давно, еще когда прицелился и выстрелил впервые по живому, а не по мишени на стрельбище, и увидел, что не промахнулся, что бесформенная, окровавленная грудa мяса лежит на дороге в том месте, где стоял человек с противотанковой гранатой, предназначавшейся нам. Но теперь другое. Я одеревенел и мог стрелять в таком состоянии сколько угодно и по кому угодно. Анаша? Нет. Ее действие кончилось, остался лишь легкий желтовато-зеленый, как тина, туман в мозгу и под веками. Тогда что? В бою звереешь, это понятно. А теперь? Это не было «чувством охотника», о котором твердил взводный, которое мы должны были искать и воспитывать в себе каждый день и каждую ночь. Я не воспитал. Не нашел. Хоть и не корежили, не выжигали мне душу тогда, как теперь, слова эти — «чувство охотника». Но то было другое. Будто проснулся во мне кто-то первобытно-жестокый, примитивный, дремучий, подчиняющийся лишь инстинктам. Ничего не было — ни детства, ни школы. И никого. А кругом только враги. Я один. И надо спасти себя, потому что никто не спасет и не поможет. Как угодно. Стрелять. Взрывать. Резать. Бить. Зубами рвать. Когтями — и потом, как в стихах, выковыривать штык-ножом из-под ногтей застывшую кровь. Я чувствовал, как схожу с ума. Но вдруг горьковатый вкус слез появился во рту — вспомнилось, я плакал в детстве, когда сосед застрелил из двустволки возле нашего забора бездомного рыжего щенка. И я заплакал, глядя в звездное небо. Мне стало легче. Шумела хрипло рация под ухом. Выли, хохотали шакалы. Юра спал.

Что я мог ей рассказать?

— Ты молчишь... — она подняла голову. — Ты знаешь, когда вы встречаетесь с Павлом, с остальными, меня не оставляет чувство... Ты только не обижайся, ладно?

Я кивнул.

— Мне все кажется, что вот отец и его друзья воевали, была настоящая война...

— Ясно,— сказал я и встал.— Пошли.

— Куда?

Я взял вещи и пошел по проспекту. Оля надела туфли и пошла за мной.

— Ты же обещал, что не обидишься.

— Я не обиделся.

— Ну правда, Коль. Мне все кажется, что вы...

— В войну играли,— сказал я.

— Не совсем, конечно, я знаю, там даже убивают, но... Помнишь тот четвертый стакан с вином, который наполнил Павел, когда мы пришли к нему после загса? Зачем? Для кого это? Я видела в кино про войну, что так делают... Ну объясни мне, пожалуйста.

— Этот стакан для нашего командира взвода,— остановившись, сказал я.— Он меня два раза от смерти спас. С Витей Левшой нас окружили в лазуритовых горах, Витя подорвался, а я заполз в штольню, раненый, и уже с жизнью прощался, и тут... Если бы не он, то ничего бы у нас с тобой не было. И не только меня он спасал— наш комвзвода. Поэтому Пашка и поставил стакан. Они с Пашкой были друзьями. Что тебе еще объяснить?

— Командира убили?

— Да.

— Ну а почему ты мне раньше об этом не сказал? Почему ты все скрываешь от меня? Папа и его товарищи, когда собираются, так много рассказывают, а вы...

Моросил дождь. С гор дул пронизывающий ветер. Но мы стояли расстегнутые и не отворачивались. Нас провожали на дембель. «Сынки,— говорил, то и дело прокашливаясь, замполит,— не пугайте вы там никого, на гражданке, моя к вам просьба. Не надо. Все равно правду не расскажешь. Да и не поверят вам».

— Кто он был, ваш командир взвода? — спросила Оля.

— Что значит — кто?

— Ну, какой?

— Обыкновенный. Старший лейтенант. За его голову миллион долларов давали.

— Кто?

— Они. Им за каждого нашего солдата платят — деньгами, лазуритом, рубинами. За десантника из спецназа — пятнадцать — двадцать тысяч. За подбитый танк — сто пятьдесят тысяч.

— А за голову командира миллион?

— Да, — сказал я, вспомнив, как ночью, поднявшись в полный рост на выступе в скале, взводный матерился страшным голосом в ответ на приказ сдаваться, а по нему били из автоматов и пулеметов, сверкали трассеры. Он был как заколдованный.

— Почему ты улыбаешься?

— Да так. Ты замерзла, пошли.

— Нет, нет, — сказала Оля. — Подожди. Прости меня. Но ведь ты знаешь, в газетах ничего почти не пишут о том, как вы... Верней, пишут, конечно. И по телевизору показывают. Но... Я страшную вещь поняла. Сейчас. Что я никогда до конца не пойму тебя. Сколько бы мы с тобой ни прожили.

— А мама твоя понимает отца?

— Война — это было совсем другое. Вся страна воевала. Мама сама была на трудфронте. Работали по двадцать часов, голодали... Она мне рассказывала, как впервые попали под бомбежку — повалились друг на друга, а бомба свистит и неизвестно, где упадет... И как за ее подругой по полю самолет гонялся... Скажи, а они, против кого вы воевали, они... — Оля усмехнулась, — совсем на нас не похожи?

— Похожи. Однажды ночью сидели у костра с пленным, моим ровесником из Кабула. Отец учитель, мать врач. О Достоевском говорили — «Братья Карамазовы» любимая его книга.

— Правда?

— И Чехова он читал. И Ремарка. И о поп-музыке говорили. Напевал мне песни Стиви Уандера. Они вообще народ музыкальный.

— И что стало с этим пленным?

— Не знаю. Утром увезли. Он у меня все адрес в Москве просил: переписываться, мол, будем.

Машина утром за пленными не пришла. Когда времени не оставалось, их, четверых, выстроили под скалой в ряд. «Дедушка»-дембель вызвал нас, сынов,

прослуживших всего несколько недель, тоже четверых,— на «закалку». Не знаю, то ли случайно вышло, то ли видел «дедушка», как я сидел и разговаривал с тем пареньком,— поставил меня против него. Вытащил ТТ, потом передумал — «штык-ножом!» — скомандовал. Мы примкнули к автоматам штык-ножи. «На первый-второй рассчитайся!» — «Первый — второй! Первый — второй!» Я оказался первым. «Коли!» — приказал «дедушка», раскуривая трофейную сигару. Я не видел, что произошло справа — слышал лишь короткий всхлип и хруст ребер, расщепленных сталью. «Ну! — рывкнул «дедушка» на меня. — Особое приглашение надо, столица сраная! Долго дробить будешь? Коли, как красные беляков в кино кололи! Ну!!» Я не смотрел в глаза парню. Но чувствовал на себе его взгляд. Я не смотрел. Я никуда не смотрел. И, когда «дедушка» обматерил и плюнул в меня, я поднял автомат и с трех метров всадил стоявшему напротив парню в живот, в грудь весь «рожок». Патроны кончились, а я все давил и давил на гашетку, пока «дедушка» за невыполнение приказа не ударил меня носком сапога в берцовую кость. И потом он заставил меня снимать с парня, с того, что осталось, — японские часы «Сейко». Мертвую, но еще теплую, отрубленную от туловища пулями руку я и теперь порой чувствую в своей руке.

12

В такси было тепло. Оля прижалась ко мне. Тихонько замурлыкала, прикрыв глаза.

— Помнишь, Оля, в заявлении: мы взаимно осведомлены о состоянии здоровья каждого из нас... Мне кажется, я обманул тебя, поставив подпись. Осколки — ладно, ерунда. Доктора говорят, что они сами выйдут со временем. Но что-то другое. Руки-ноги на месте, а такое ощущение, будто калека и скрыл это от тебя. Где-то внутри калека.

— Глупый мой, — нежно погладила меня Оля по голове.

— Когда в феврале собирались классом, я стариком себя чувствовал. И вот теперь. Честное слово.

Подъехали к гостинице. Дверь была заперта. Я стучал минут пятнадцать. Опухший со сна, со вздыбленными усами швейцар вышел из темноты и долго вглядывался в наши лица. Открыл. Я молча отдал ему ключи.

— Что стряслось?

— Все в порядке. Передумали. Неустойку заплатить?

Он вынес паспорта. Налетал влажный северный ветер. Хлестались у нас над головой ветви деревьев, метались лихорадочно кусты. Скомканная газета волочилась по площади. Мы пошли на вокзал, чтобы снова сдать вещи в камеру хранения. Народу на вокзале было немного — все, кому нужно было, приехали или уехали на День Победы.

В пять утра открылся буфет. Мы съели холодную жирную курицу, запили ее мутной бурдой под названием «Кофе сладкий». Руки вытереть было нечем.

— Как мне все это надоело, — сказала Оля, вытаскивая из сумочки финский носовой платок из набора, подаренного на свадьбу. — Все. И у меня ужасно болят ноги. И я хочу спать.

Мы пошли между рядами, высматривая свободные места, сели с краю, прильнули друг к другу, но Оля вдруг вздернулась, будто прикосновение ко мне ей неприятно.

— Что? — спросил я.

— Я совсем забыла, что у тебя удостоверение о праве на льготы, что ты приравниваешься...

— Забыла? — сказал я.

— Почему ты никому не показываешь удостоверение?

Удостоверение я показывал. Контролерам в электричке. Это было в начале весны, когда мы с Олей возвращались из Загорска. Три года назад мы ездили с ней в Абрамцево, тоже ранней весной. И, лежа над ущельем в засаде, засыпая в горах и наперед зная, что утром придется отдираТЬ вмерзшие в лед волосы, десятки километров преодолевая марш-броском по барханам с «лифчиком» — боекомплект, рацией, АКСом, а то и с пулеметом на плече, с разобранной ракетной установкой, в таком пекле, когда даже подшипники на вертолетах плавятся, — я мечтал, чтобы Абрамцево по-

вторилось. И мечта моя сбылась. Ночью шел снег, а утром из окна электрички глазам было больно смотреть, так все искрилось, сверкало, мокро-радостно блестели прогалины — островки в снежном море. Лед на пруду истончился, под ним зеленела вода, но мальчишки катались на коньках и на санках. Снег был липкий, влажный. Оля слепила большой комок, бросила и попала мне по шапке и ужасно смеялась, а я догнал ее, поднял на руки, и мы вместе рухнули в сугроб. Удивительные в тот день у нее были глаза. Хмельные от света, от воздуха, от близости друг к другу, бродили мы, о чем-то беспрерывно болтая, по усадьбе и по лесу, где на сиреневом, покрытом шершавой коркой снегу в тени елей лежали, точно игрушечные, шишки и иголки, и светились пятна солнца, салатовые, палевые, голубые, янтарные. Потом мы поехали в Загорск. В лавре, слушая песнопение, Оля призналась, что прошлой осенью, когда так долго не было от меня писем, она пошла в Елоховскую церковь и поставила за меня свечку. «Я не верю в Бога,— прошептала она, глядя на размахивающего кадилом священника.— Но к кому еще я могла обратиться? Кого попросить?» Купола в сумерках отливали малинно-лиловым. Вечерний звон сулил нам столько радости впереди, когда мы всегда, каждую минуту будем вместе, что боязно было дышать, и говорил мне одному, а больше никто не слышал: «Вот она — награда, настоящая награда за все, о чем не можешь ты никому рассказать, храни ее, не потеряй». В темноте уже, усталые, с промокшими ногами, голодные, пришли на станцию. Электричка уходила, а следующую надо было ждать целый час, и билеты взять мы не успели. «Авось»,— улыбнулась Оля, и я поцеловал ее, и мы целовались, стоя в прокуренном, исцарапанном гвоздями тамбуре, до тех пор, пока не легла мне на плечо рука и не услышали мы откуда-то сверху каркающий голос: «Так, ваши билеты, молодые люди». Я начал оправдываться: мол, бежали, не успели... Контролер, высоченный, со своих двух метров глядел на нас, и я казался себе мальчишкой, укравшим в магазине самообслуживания сдобную булку и теперь размазывающим по лицу слезы вместе с соплями. «Штраф»,— сказал гигант, проверяя билеты у остальных в тамбуре. Подошла толстая контролерша. Молча стала качать головой, глядя на Олю,

отвернувшуюся к окну. О нынешней молодежи начала, о том, что только и думают, как облапошить государство, которое их и кормит, и поит, и одевает, да и понятно, горя не знали, на всем готовом с пеленок, потому и вырастают хапуги, дармоеды, вот в старые времена... «Ишь, вырядилась!» — с ненавистью кивнула контролерша на Олю, а контролер каркнул сверху, как ворон: «Штраф». Я бы заплатил, но у меня осталось всего два рубля. Чувствуя, что Оля вот-вот расплатится — «простите нас, пожалуйста, мы больше не будем», — я достал удостоверение и пролепетал что-то жалкое. А они повертели в руках и вернули: «Это нас не интересует». Как будто я им квитанцию из прачечной подсунул. И я снова, в который раз за каких-то два с половиной месяца гражданки почувствовал себя беспомощным, как будто под огнем расстрелял весь боекомплект и в последнем «рожке» кончились патроны. Даже хуже. Потому что там не было Оли.

— Мы сейчас же пойдем в ближайшую гостиницу, — сказала она. — Ты покажешь свое удостоверение и потребуешь, чтобы нас поселили.

— Не буду я ничего требовать, — сказал я.

Но в половине седьмого мы вошли в гостиницу под названием «Салют». Сонная женщина из-за стойки нам ответила, мельком взглянув на удостоверение, что гостиница закрыта на спецобслуживание, но если мы подойдем после двенадцати, то, возможно, что-нибудь освободится.

— Спасибо, — сказал я.

Мы вышли, не глядя друг на друга, на площадь, измученные, опухшие. Отупело стали смотреть на лозунги плакаты, вывешенные в честь Дня Победы. На легковые и грузовые машины, движущиеся по кругу.

— Хороший город, — сказала Оля. — Спасибо тебе, дорогой, за это свадебное путешествие.

— Зачем ты так?

— И что мы теперь будем делать? — с недобрым смешком спросила она, ежась от холодного ветра. — Не знаешь? И я не знаю. Только сдается мне, что мы всю жизнь вот так проживем. Если проживем.

— Что ты имеешь в виду? — дернул меня кто-то за

язык горячими шершавыми пальцами.

— То и имею,— она подняла руку с оттопыренным безымянным пальцем и как-то задумчиво и отрешенно посмотрела на помутневшее кольцо.— Ты прекрасно понимаешь.

— Почему?

— Надоели мне твои идиотские вопросы!

Она пошла по краю тротуара, и я пошел за ней. Оля остановилась возле кинотеатра. Там шел двухсерийный фильм про войну.

— Ты смотрел?

— Да.

— Я тоже, но делать нам с тобой в этом городе больше нечего.

Проболтавшись на улице до девяти, промерзнув, мы купили билеты и сели в фойе, дожидаясь начала сеанса. В тепле разморило, но спать на свету, под фотографиями белозубо улыбающихся киноартистов было неудобно. Оля стала заниматься со мной английским. Мое произношение раньше забавляло ее, ей нравилось меня передразнивать, но теперь раздражало, хотя она, будущая преподавательница, и не показывала виду, терпеливо повторяя межзубные и альвеолярные звуки. У меня выходило все хуже. Я замолчал. «И кому это все надо?» — тихо, будто самой себе сказала она и больше ничего не говорила. С неприязнью мы смотрели на входящих в кинотеатр.

...Операция была задумана для того, чтобы взять — живым или мертвым — главаря банды муллу Ахмада. Но он ушел, переодевшись женщиной, под паранджой. Опять ушел. Полгода назад он сидел в городской тюрьме и лишь когда убежал, сняв троих часовых, мы узнали, что это был он, Ахмад, сын миллионера, окончивший Оксфордский и еще какой-то университет, учившийся и в Москве. До городской тюрьмы он пробыл четыре дня у нас в батальоне. Переводчик-таджик уехал, и мы объяснялись с пленным на пальцах, жалея, что он не знает английского, который мы проходили в школе. Говорили ему все, что о них думаем, что сделаем с ними в скором будущем. Он кивал, улыбался и норовил пожать нам всем руки, а то и обнять. Мы смеялись. Называли его Гришкой. Потом выяснилось, что по-английски он все-таки немного лопочет — научил хозяин, на которого он батрачил в глу-

хом кишлаке. Еще мы поняли, что читать и писать он не умеет, что бандиты убили его родных, увели женщин и силой заставили идти в банду, но по нашим солдатам он не стрелял и готов поклясться в этом. Было ему лет двадцать шесть. Он давно не брился, и у него отросла иссиня-черная борода. Взгляд его больших глаз был чуть рассеянным, как у близоруких, умиротворенным, порой даже ласковым. Он говорил, что мечтает побывать на родине Ленина, о котором много слышал. Однажды на рассвете, когда мы вернулись с удачной боевой операции, он окликнул нас с Володей Шматовым, показал, как переливаются бриллиантовые капли росы на броне и, прикрыв глаза, тихонько запел. Очень хорошо он пел, хоть и совсем не по-нашему. Мы присели рядом на траве, заслушались, глядя на золотящиеся, а с другой стороны — густо-синие, почти черные скалы. Воздух был удивительный, прозрачный и словно насыщенный крупинцами серебра, всю долгую холодную ночь очищавшими его. И так тихо, что дух захватывало. Подошли ребята — Шухрат, Серега, Витя, — тоже сели на траву, стали слушать, забыв, что не ели, не спали, что у китайских кроссовок сгорели подошвы от ночного пятидесятикилометрового марша по камням... Дней через десять после того, как мулла бежал из тюрьмы, два наших отделения попали в засаду. Володю Шматова мы нашли распятым на арче. Ему отрезали все, что можно было отрезать, и содрали кожу, а перед казнью долго пытали кипящим маслом. Жители кишлака сказали, что это дело рук Ахмада, поклявшегося всех нас, «ночных дьяволов», весь батальон специального назначения во главе с нашим «Иисусом» — комбатом, распять. Вскоре мулла спалил кишлак, жители которого нам помогали. Никого в живых он не оставил. Всем окрестным мальчишкам платил по сто, а то и по триста афганей за каждую дырку в трубопроводе, за любую пакость. Заваливал нас «дезой», подсылая перебежчиков и «доброжелателей» из кишлаков. Возвращался из Пакистана с караванами, нагруженными несметным количеством оружия и боеприпасов. Несколько десятков человек сам застрелил из снайперской винтовки. И вот он опять ушел. А спустя две недели нас с Витей Левшой окружили, и, когда у нас кончились патроны, заревел мегафон в тишине: «Шурави командос, сдавайся!»

И я узнал его голос, когда он сказал на русском: «Десантники, сдавайтесь. Это говорю я, мулла. Ахмад»

...Прозвенел звонок. Мы вошли в зал и тотчас, лишь погас свет, уснули, привалившись друг к другу.

13

Проснулся я от взрывов и не сразу сообразил, что сижу в кинотеатре. Кричали «За Родину! Ура!». Я облизал невкусные растрескавшиеся губы. Оля спала. На экране рушились под бомбами дома и мосты, строчили из автоматов, забрасывали пулеметные гнезда гранатами, сшибались в рукопашной. В прошлый раз я смотрел эту картину тоже сквозь сон и мало что запомнил. Нам в лагерь привезли ее после самой удачной на моей памяти операции — без потерь мы захватили огромный склад с боеприпасами, продовольствием, одеждой. Приняли душ, поужинали. Фильм начался, когда стемнело. Кое-кто из ребят сразу захрапел, но большинство держалось, потому что кроме кино и писем какая у солдата радость? Комментировали с юмором. «Ну дает Санек! — говорил Миша Хитяев, у которого брат служил в показательной Таманской дивизии под Москвой и писал, что за полтора года службы и с псами-рыцарями успел перед кинокамерами повоевать, и с Наполеоном, и с белогвардейцами, и за Москву в сорок первом году бился, и Будапешт взял — остался лишь Берлин на дембель. — Ну, Санек...» — «Завидуешь?» — спросил кто-то. «Не-а», — ответил Миша. Павел, сидевший рядом, толкнул меня в бок, чтобы разбудить, но я не спал. «Они «За Родину!» кричали, когда шли в бой, — сказал Павел. — А мы материмся или молчим, как рыбы. Мне кажется, самое страшное в любой войне — немота. Когда права не имеешь...» Я младше Павла и об этом не задумывался. Я просто воевал. Выполнял приказы. Ждал писем от мамы и от Оли. Ждал, когда привезут кино. Счастлив был, если удавалось набить брюхо и поспать часа четыре кряду. Газетку почитать спокойно, присев где-нибудь за кустом и повесив ремень на шею. Сперва, конечно, трудно было. В первом моем бою, верней, уже после боя, когда прошли по полю, устланному кровавыми, перемешанными с песком и пылью обруб-

ками, кусками пехоты, попавшей под массированный артобстрел, мне стало плохо. Думал, не привыкну. А потом привык. Почти ко всему. Даже о женщинах научил себя не думать, хотя это было трудно. Смотрели фильм про войну, зная, что завтра весь день — отдых. Постираться можно будет. Просто полежать, посмотреть на облака. И тут рассекла экран очередь из крупнокалиберного пулемета. Стреляли с гор. Ребята проснулись, но никто не стал прятаться, залегать, разве что несколько молодых повскакивали, а мы, «деды», стали свистеть и топать ногами, совсем как на гражданке, когда рвется у киномеханика пленка или что-то в аппарате заедает. Но когда эсеры запукали, засвистели и зашелестели — тут уже мы врассыпную.

— Мы где? — спросила Оля.

— В кино, — улыбнулся я, глядя на ее заспанное лицо.

— А, — сказала она и снова опустила веки, положила голову мне на плечо.

Полтора часов хватило, и больше я не спал. Я думал о нас с Олей. О том, что ни эта ночь, ни это утро ничего не значат. Раздражение прошло, не оставив следа. Она любит меня. Любит. И все вранье, что про нее говорили. Много злых людей. Завистливых. Мелочных. Они не знают, что есть гораздо более важные вещи в жизни. И стбит она гораздо дороже, чем они думают. А злых много. Жестоких. Ну и черт с ними.

Я вспомнил Олю девочкой-пятиклассницей, какой увидел ее, когда переехал в Москву и стал учиться у них в классе.

Солнечным осенним днем она вышла после уроков и вдруг сказала мне: «Пойдем мороженое купим». Девчонки из класса и мальчишки, Андрей Воронин, с которым я недавно дрался за школой, глядели на нас, и я не знал, как поступить. К тому же у меня не было ни копейки. Сказать, сама иди? Но я ведь мечтал о том, чтобы пройти вот так с ней по улице, поговорить о чем-нибудь, как взрослые, и, может быть, потом даже взять за руку. С первого сентября, с той минуты, как увидел ее, — мечтал. Она была выше ростом и смотрела на меня, глаза ее и бант в волосах блестели на солнце. «Сама иди», — ответил я, залившись краской,

и не нашел, как скрыть это. Я тогда все время краснел. Как, впрочем, и теперь.

Прошло полтора года. Мы учились во вторую смену, и как-то зимним вечером Оля подходит ко мне в раздевалке и говорит: «Ты бы не мог меня проводить? Папа уехал, а мама задержалась на работе, и она сказала, чтобы кто-нибудь из мальчиков меня проводил до подъезда. У нас там темно во дворе и хулиганы». — «Ладно», — ответил я, пожав плечами, будто для меня это обычное дело, и покраснел, но успел ловко уронить шапку.

Помню, как мы шли, сперва по проспекту, потом свернули на улицу и на перекрестке, подождав, пока проедет грузовик, Оля сказала: «Ты не хочешь мне помочь?» Я взял ее портфель с радостью, которую никогда потом не испытывал, она рвалась наружу, под крыши домов, в темно-фиолетовое зимнее московское небо. Я умолял стрелки часов остановиться, чтобы мы никогда не дошли до ее подъезда. Чтобы шли вот так по улице, под аркой, где гулко, оглушительно, радостно хрустел у нас под ногами снег, и шли по дорожкам двора, где хулиганы перебили фонари, и чтобы доносились от голубятни их хриплые пьяные голоса; мне и боязно было, подрагивало в коленках, но я счастлив был, ожидая, представляя, как подойдут к нам двое, трое блатных и... В тот вечер я впервые почувствовал себя мужчиной. Я уверен был, что отдам за Олю жизнь. Я и теперь уверен.

Мы пошли на каток в Лужники, и она учила меня катиться спиной, а у меня не получалось. Сидели в раздевалке. Разговаривали. И потом я снова зашнуровывал ее высокие белые ботинки с фигурными коньками. Она положила одну ногу на другую, я опустился перед ней на колени и вдруг прикоснулся — случайно, страхась и мечтая об этом, — пальцами к ее ноге, упругой икре, обтянутой мягкой белой шерстью рейтуз. Мы катались по кругу под музыку, и шел снег, кружили снежинки, переливающиеся на свету серебряным, рубиновым, аметистовым, она ловила их ртом, ее теплая рука в варежке была в моей руке... Засмотревшись на небо, я упал, больно ударился об лед затылком, и она гладила меня по голове, улыбаясь, и шептала: «У кошки боlí, у собаки боlí, у мишки боlí, а у Кольки заживи». И она прикоснулась губами к краешку моих губ.

«Наши победили?» — вскакивала моя бабушка, проспав перед телевизором весь фильм. Так же примерно и Оля, опять не сразу сообразила, где она — подумала, что дома.

Мы вышли. От света заболели глаза.

Прошли немного и уперлись в толпу, за которой под духовой оркестр в колонне по шесть маршировали веселые фронтовики, увешанные орденами и медалями.

— И сегодня, как сорок лет назад... — бодро говорил кто-то в мегафон.

«За Родину!» — кричали фронтовики, идя на смерть. Те, с которыми я воевал два года, кричали «Аллах акбар!» (Аллах велик). А нам оставалось лишь материться, поднимаясь в рукопашную. Нет ничего страшнее, чем смерть с матерщиной на устах. И когда воюешь, воюешь, штык-ножом колешь, с землей срастаешься в «оборонке» под пулями, таскаешь на себе по центнеру, голодаешь, спишь в снегу между камнями и вдруг саданет по темечку: ради чего? «Многие не поняли революцию, — говорил приехавший к нам в лагерь начальник «Хада» — афганских сил безопасности. — Безграмотный народ. В отдельных провинциях еще четырнадцатый век — тысяча триста шестьдесят второй год наступает. Душманы им платят, дают оружие, а с оружием можно и награть сколько хочешь, и женщин набрать. Служат сперва в нашей армии, затем у душманов и документы получают и там, и там — на всякий случай. Танки подрывают чаще не душманы, а обычные крестьяне, мальчишки и этим зарабатывают на жизнь». — «Сколько здесь ни воюй, все без толку», — слышалось с задних рядов. Мы думали, замполит начнет про многострадальный афганский народ, про интернациональный долг, но он лишь посмотрел в ту сторону, откуда донеслись слова, и ничего не сказал.

Мы пошли обратно, свернули на проспект, увешанный флагами. Там тоже движение было перекрыто, кричали, хлопали, потом грянул прямо над нами из рупора марш «День Победы».

— Мы с тобой чужие на этом празднике, — сказала Оля грустно. — Пошли куда-нибудь.

Так мы шатались по городу от одной праздничной толпы к другой. Устали. Оля сказала, что хочет выпить вина. Я купил «бомбу» ноль восемь. Ни у Оли в

сумке, ни у меня в кармане бутылка не поместилась, пришлось держать ее в руке.

— А где будем пить? — спросила Оля.

— В подъезде, — ответил я. — Помнишь, как под Новый год в десятом классе?

— Помню. Здорово было.

— И теперь здорово! Сейчас вмажем...

— А ты помнишь, в девятом классе на твой день рождения ты подрался с Олегом, когда он сказал в магазине, где фронтовики все лезли и лезли за водкой без очереди: «Надоели эти недобитки». И Олег избил тебя. Потому что был уже кандидатом в мастера по боксу. А до этого вы спорили, что сильнее, его бокс или твоё дзюдо. Помнишь?

— Помню.

— И потом мы на комсомольском собрании обсуждали поведение комсорга. Наташка Самкова особенно бушевала, крови требовала. А Андрей Воронин заступился за тебя. И я. А ты сидел в углу с фингалом, так ни слова и не сказал. Но сейчас я не хочу пить в подъезде.

— Давай дворик какой-нибудь найдем.

— В милицию не заметут?

— Напугал тебя вчерашний лейтенант в ресторане, — улыбнулся я.

— Никто меня не напугал, — сказала Оля. — И потом, неужели это вчера было? Да. Вчера. А мне кажется, что уже так давно. «Со светлой вершины дано вам отныне... Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений!» Как ты думаешь, что такое «крики рождений»?

— Не знаю.

— Создавайте прочную советскую семью и помните: чем крепче семья, тем прочнее наше общество. Тем ближе коммунизм.

Мы прошли по набережной, где дул ветер, бились о гранит волны, тащились по слезоточивому небу налитые мутью тучи. Свернули во двор, похожий на колосс, но там играли дети. Другой двор был весь зашпален бельем, и там тоже играли дети, и мужики в плащах и кепках резались в домино.

— А почему мы не едем к Онегину, доброму твоему приятелю? Может быть, и нет никакого Онегина-Ленского в помине? Ты его придумал?

— Придумал? Зачем?

— Ну... я все твержу, что у тебя нет друзей, вот ты и придумал этого своего Ленского — друга, живущего в другом городе. А?

— Поехали,— сказал я.

— На такси?

— На метро.

— Почему ты так рассвирепел?

— Надоело.

— Что тебе надоело?

— Все.

— И я?

— Надоело, что ты меня все время в чем-то пытаешься уличить. В идиотизме чаще всего.

— Цезарь, ты сердисься, значит, ты не прав.

— Какого черта! — вскрикнул я, споткнувшись о чью-то ногу в вагоне.

— Прекрати,— сказала Оля.— А то ведь мне тоже может надоесть твое хамство.

— Прости.

Молча мы доехали до конечной станции, молча простояли на автобусной остановке под дождем минут двадцать. В автобусе народу было битком, пахло мокрой резиной и синтетикой. Я спрашивал, когда будет магазин «Диета», но никто мне ответить не мог и названия улицы, которое у меня было записано, никто не знал. Оля отрешенно смотрела в окно. Я увидел впереди большой стеклянный магазин с надписью «Диета» наверху.

— Оля, сходим,— сказал я и огрызнулся на окружающих, не выдержав: — А вы говорили — нет такого!

— Так это ж новая «Диета», сынок, так и сказал бы.

Пошли через пустырь с остатками бревенчатых изб, свалками, выкорчеванными липами. Оля молча шла впереди, не оборачиваясь. Возле голубятни остановились. Паренек лет четырнадцати чистил нагул, над головой у него на жердочках сидели мокрые, сонные, надувшиеся турманы, монахи, чайки.

— Чего надо? — угрюмо осведомился парень.

— Ничего не надо,— пожала плечами Оля.— А почему ты такой злой?

— Здесь вам не выставка, ясно?

— А если по шее? — осведомился в свою очередь я.

Паренек с ненавистью посмотрел на меня, на Олю, сплюнул сквозь щелочку между зубами, но промолчал. Открыл дверцу и на четвереньках влез вовнутрь голубятни.

— Ты никогда не гонял голубей? — спросила Оля.

— Гонял. С Лешкой Томилиным, ты же помнишь.

— Помню. А я никогда не держала живого голубя в руках.

— Хочешь? — я шагнул к голубятне, но Оля остановила:

— Стой, сумасшедший! Он позовет своих малолетних бандитов, и они...

Я усмехнулся, хотел открыть нагул, но Оля быстро пошла по тропинке. Я догнал ее.

— Я уже не хочу, — сказала она. — В детстве хотела, но боялась. Однажды в открытое окно залетел белый голубь и стал биться о стекло. А поймать его руками я боялась. Хотела полотенцем, но он все сильнее бился. Ушла в школу. А когда вернулась, он мертвый лежал под батареей. Весь подоконник был усыпан окровавленными перышками. Я плакала. Я чувствовала себя убийцей. Втайне ото всех похоронила голубя во дворе под деревом, крестик маленький поставила. И ночью стихотворение написала, посвященное ему.

— Стихотворение? Ты писала стихи?

— Да.

— Я не знал.

— Ты много чего не знал, — сказала Оля. — И не узнаешь никогда.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что знаю. Потому что ты думаешь только о себе.

— Я?

— Ты. Все мужчины эгоисты. Вот собираетесь вы у Павла в этой вашей Слободе, кричите, спорите — но никогда не поймете, вам просто дела нет до того, что, пока вы там из своих крупнокалиберных пулеметов строчили и с парашютами прыгали, тем, кто вас ждал, было гораздо хуже — вашим родителям, вашим...

— Девушкам, — сказал я, обнимая ее за талию.

— Ужасно пошлое слово! Когда я слышу по радио

передачу для воинов — «подруги, девушки», — меня тошнит.

— А как иначе скажешь?

— Не знаю. Никак. Это все вранье.

— Что — это?

— Все. «Не плачь, девчонка...» Вообще все. И то, что пишут в газетах про вас, и то, что папа и его друзья рассказывают. И мама. Верней, не вранье, конечно, нет — но и не вся правда. А разве бывает полуправда? Разве бывает, например, полубеременность? Нет, не бывает. И от этого все. Моего деда расстреляли в тридцать седьмом году. А я только прошлой зимой об этом узнала, говорили, погиб на какой-то стройке на Дальнем Востоке. И о том, что папа — как сын врага народа — в штрафном батальоне должен был кровью искупить вину, которой не было. И еще много лет скрывал это от мамы. И они потом скрывали от меня. Знаешь, как в спорте палочку передают эстафетную. Эстафета вранья.

— Ты мне не говорила.

— А зачем? Ты бы лучше стал относиться к моему отцу?

— Я к нему хорошо отношусь.

— Ты думаешь, я дуручка? Я не вижу ничего?

Я пожал плечами.

— Ну пойдем мы к Ленскому или не пойдем?

— Ты не хочешь?

— Спросил с надеждой он, — усмехнулась Оля. — Я вижу, что ты не хочешь.

— Пойдем, — сказал я и убыстрил шаг, но в этот момент нас обогнал на велосипеде голубятник; отъехав шагов на тридцать, он повернулся и обругал нас матом. — Вот гад, — развел руками я, потому что больше ничего не оставалось: гоняться за ним по пустырю, чтобы надавать подзатыльников, было бы смешно. — Что мы ему плохого сделали?

— Ничего. Но кто-то другой, наверное, сделал. Ничего просто так не бывает.

— Какая ты у меня умная, — улыбнулся я, и Оля улыбнулась.

— Опять-таки эстафета. Скажи честно, почему ты не хочешь идти к своему Игорю Ленскому? Он высокий? Он блондин или брюнет?

— Зачем тебе?

— Просто интересно. Ты помнишь, в школе в восьмом классе я Ольгу играла в «Евгении Онегине»? А тут Ленский.

— Он на того Ленского не похож.

— И я на ту Ольгу не похожа. Скорее, на Татьяну.

— У Игоря Ленского руки нет,— тихо сказал я.

— Как?

— Очень просто. Вот восемнадцатый дом. Корпус один. Шестой этаж.

«Ленские — 2 звонка». Я позвонил. Открыла дверь женщина.

— Вам кого?

— Игорь дома?

— Проходите. Игорек, к тебе!

— А, привет.

— Познакомься. Это моя жена. Оля.

— Игорь. Проходите. Какими судьбами?

— Сели в поезд и приехали. Заранее, правда, билеты взяли.

— Погулять?

— Ну да... У Оли здесь отец воевал.

— А. Понятно. Садитесь, в ногах правды нет.

— Да мы на минутку, так просто...

— Ну ладно — если так просто.

— Да нет, мы сядем, Игорь.

— Видишь кого-нибудь из наших?

— Пашку часто. Толика вижу. Саню. Виктора Гармаша. Помнишь Виктора? Из ДШБ?

— Нет. А как вообще дела? Работаешь?

— В институт буду поступать.

— В какой?

— В МГУ. На исторический. А ты?

— Я работаю.

— Где?

— В сберкассе.

— Поступать никуда не думаешь?

— Не знаю.

Помолчали.

— Ну... мы пойдем?

— Смотрите.

— Ладно, Игорек. Бывай. Рад был тебя повидать.

— Я тоже. Пока.

— Пока. А Юрка Белый поступил на капитана учиться, не знаешь? — спросил я в дверях.

— В морге работает на Урицкого. При мединституте. Вы бы к матери Саши Волкова зашли, она одна. Рада будет.

— Какого Саши Волкова?

— Не помнишь? Черпаком был, когда мы дембельнулись. Длинный, ушастый такой. В «вертушке» сгорел. Зайдите, одна она.

14

Мы долго шли по улице молча.

— Он до армии учился в консерватории, — сказал я.

— Боже мой.

— Почти по плечо ему руку. Говорил я тебе, что не надо было ходить. На тебе лица нет.

— И ничего нельзя было сделать?

— В каком смысле?

— Там, наверное, врачи чудовищные. Чуть что — они не раздумывая...

— Ему не врачи. Наши ребята.

— Ваши?

— Да. Ночью. «Духи» нас купили. Засела их группа наблюдения между двумя нашими взводами и открыла огонь. По нам. Мы ответили, думая, что второй взвод километра на три от нас отстал. А он как раз за «духами» в этот момент был.

— Значит, ты сам и стрелял по своему другу?

— Какая разница, я или не я?

— И вы так спокойно разговаривали... Боже мой.

Автобус сразу подошел. Оля села на свободное место, я встал рядом. Поехали мимо одинаковых серых панельных домов. За спиной разговаривали о передаче «Утренняя почта». Впереди мальчишки спорили о каком-то последнем диске. Я вдруг услышал голос Игорька: «Ребята, играть я вам больше не смогу». Спокойно так сказал, когда мы несли его к броне на плащ-палатке. Будто закурить у него попросили, а он ответил, что одна осталась, а ночь в карауле стоять. Как бы извиняясь. Покажи это в кино про войну —

не поверили бы. Вот если б орал музыкант, потерявший руку, или плакал. У бывшего защитника «Таврии» из десантно-штурмового батальона «бакшиш», то есть, подарок к Седьмому ноября — реактивный снаряд — оторвал обе ноги выше колен. Хорошо помню: пук — шелест — вспышка — грохот с волной — тишина. Футболист не рыдал, не выл. Он только задыхался сразу как-то странно-громко, часто, по-собачьи. И сознание не потерял. Он сказал: «А мне ноги» — в ответ на слова старшины, сидевшего у входа в убежище: «Мне руку оторвало». И это не был шок или действие промедола. Потом футболист попросил меня, потому что я был ближе, рассечь штык-ножом лоскуток кожи, на котором висела еще нога: «Что она болтаться будет, как эта, все равно уже не прирастет».

Автобус дернулся — я едва успел ухватиться за поручень.

— Возьми билеты, — сказала Оля.

Я пошел, взял, отдал ей, она проверила — не счастливые. Она вздохнула и отвернулась к окну, испещренному мелкими дождевыми каплями. Мы ехали мимо развороченного экскаваторами оврага. Автобус снова дернулся перед светофором, я больно ушибся коленом об угол сиденья и лишь потом, когда мы были уже на улице, а автобус ушел, с Олиной помощью восстановил в памяти, как бросился к шоферской будке, рванул дверцу, но, на мое счастье, дверца оказалась заперта, а может быть, рванул я ее в другую сторону, — и тут же ко мне подскочила Оля и выволокла меня из автобуса.

— Ты просто параноик, я поняла, буйный шизофреник!

— Извини, — твердил я, опустив глаза. — Извини.

— Я боюсь тебя, я боюсь с тобой оставаться, ты понимаешь? Я не представляю, как мы будем с тобой жить!

— Я больше не буду, Оль. Извини.

Она остановила такси, и мы вернулись в центр, поехали по набережной.

— Улица Урицкого далеко? Где мединститут?

— Нет, — ответил таксист, — у вокзала.

— Поехали туда.

— В морг? — спросил я.

— Это как нельзя более соответствует настроению. К тому же я никогда не была. А ты не хочешь повидать своего боевого товарища?

Мы зашли на вокзал, купили билеты и поехали в мединститут. Он был закрыт. «А для морга самая работа в праздники,— сказала нам пожилая вахтерша.— Прямо, налево, еще раз налево и еще, а потом направо вниз. Вы не возражайте только ему, Юрке. Нервный он».

Едва мы спустились в полумраке по лестнице, как погрузились в плотный терпкий запах, незнакомый Оле и хорошо знакомый мне; я и прежде замечал, что запахи включают память быстрее и беспощаднее чего бы то ни было, но тут был явный обман, потому что накатила вдруг веселость, зазвучали в памяти нетрезвые гортанные голоса, переливчатая музыка, и я не сразу вспомнил, как, отвезя на афганской «бурбухайке»* в морг груз 200 — пехоту, одного «самоварщика» — минометчика, одного нашего и двоих разведчиков, попавших под «град», — мы с Мишей Хитяевым загуляли в Джелалабаде, отмечая его день рождения, и так славно посидели в каком-то дукане на окраине, что проснулись под утро на губе, и, лишь начинали вспоминать вчерашнее, — едва не падали на цементный пол тюрьмы от хохота: было что вспомнить.

Не сразу я узнал Юру — там он ходил всегда стриженный почти «под нулевку», а теперь оброс, свешивались на уши грязные, слипшиеся, словно сиропом голову облил, волосы, кустилась редкая борода. А он меня сразу узнал. И показалось, что мы только вчера простились. Но мы обнялись и долго молча стояли так, обнявшись, а вокруг на столах лежали желто-зеленые голые трупы, и я забыл, что Оля здесь со мной.

— Уйдем отсюда,— сказала она.— Я не могу... я не знала, что это так. Вы пообщайтесь, а я на улице подожду.

Зажав пальцами ноздри и по сторонам не глядя, она торопливо вышла. А мы еще долго молчали.

— Давай за встречу,— предложил я.

* «Бурбухайка» — грузовик.

— У меня прозрачный есть,— сказал Юра, уже изрядно выпивший.— Не брезгуешь?

Он достал из-под стола пузырек, мы сели, выпили граммов по пятьдесят спирта с каким-то нехорошим привкусом. Юру совсем развезло. Шатаясь, он стал ходить между столами и рассказывать, подхихикивая по привычке и с видимым удовольствием, точно красноречивый о своей мебели: этот удавился, тот, без головы, на мотоцикле под поезд, девчонка газом траванулась, старик сгорел, тетка из окна выпрыгнула, старуха от старости, мальчишка под автобус угодил... Мы еще по немногу выпили.

— Нравится работа? — поинтересовался я.

— Как на праздник каждый день хожу. Еще будешь?

— Нет, спасибо.

Он допил спирт. Поговорили о ребятах.

— У Игоря Ленского был. Он сказал, чтобы к матери Саши Волкова зашли. Помнишь такого?

— Я его чуть не убил, козла,— ответил Юра.— Однажды на подъеме выдохся и мины свои выбросил в кусты. А «духи» следом шли, нас же этими минами и накрыли в «зеленке». Ты в госпитале был.

— Чего уж теперь... Он в «вертушке» сгорел, знаешь?

— Знаю. Привезли цинковый ящик, закопали на Федосьевском, а мать с родственниками ночью пришла, выкопали, открыли — там земля. Она военкому чуть глаза не выцарапала. До сих пор уверена, что жив ее Сашка. Ты к ней не ходи. Она всех нас, которые вернулись, даже Игоря Ленского, ненавидит. А может, правда, жив? Поддам хорошенько... — Юра замолчал, лицо его вдруг постарело, зависли над ртом морщины. — И кажется, мы там в войну играли, как в детстве, и попадали ребята понарошку. Помнишь, во дворе: «Падай, а то играть не буду!»?

— Каждый день поддаешь?

— Стараюсь принимать на грудь. А ты? Клевая с тобой телка — где подцепил-то, у нас уже?

— Это не телка. Жена.

— Ну ты даешь. Ну это ты здорово придумал. Это ж надо обмыть!

— Нет.

— Что, брезгуешь? Что, забыл, да, как мы...

— Кончай!

Стукнула входная дверь — реаниматоры привезли очередной труп.

— Юра, — спросил я в коридоре, — а как же бананово-апельсиновая и вся в цветах Флориана, про которую ты нам рассказывал? Уже не хочешь туда плыть? Быть капитаном?

Он долго пьяно на меня смотрел.

— Это не я — Мишка Хитяев, который теперь тоже без руки. Нет никакой Флорианы, ты понял? И ни хрена нет. Все туфта, что нам с детства в головы вдалбливали. Вся история с географией — туфта. Знаешь, что такое пушечное мясо? Мы с тобой. Затем нас и откармливало государство коржиками.

— Какими еще коржиками?

— Которые бесплатно в школьном буфете давали. Помогли жмурика закинуть.

Юра долго меня не отпускал, я еле вырвался, а он кричал, что уроет меня, если еще встретит, потому что я предал ребят...

— Так и будем с ней таскаться? — сказала Оля, дотронувшись до газеты, в которую была завернута бутылка. — Давай, наконец, выпьем. Где угодно. Мне наплевать.

Проехав несколько остановок на троллейбусе, приютились на пустыре за трехметровой обшарпанной стеной с колючей проволокой наверху. Посреди пустыря была свалка. Там было множество ворон. Оля села на перевернутый ящик, я — на кирпич.

— Прекрасно, — сказала Оля.

Откуда-то доносилось: «Битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы...»

Я перевернул бутылку и стал колотить кулаком по доньшу, чтобы выбить пробку. Она вылезла на несколько миллиметров, но дальше не шла.

— А я наконец-то ноги промочила, — радостно заявила Оля, глядя на наполнившиеся водой следы от туфель. Ноги она держала на весу. Я поискал глазами и увидел невдалеке фанерку. Принес, подстелил. Взял в руки ее ступню, как в детстве голубя, и поцеловал.

— Она же мокрая, дурачок, — сказала Оля и погладила меня по голове.

Я положил голову к ней на колени.

— Накрой меня,— сказал я.

— Чем?

— Чем-нибудь. Юбкой.

— Глупыш ты мой,— сказала Оля, высвобождая подол из-под моей щеки, и накрыла мне голову.— Маленький глупый мальчик. Хороший...

«Рассказать ей?— подумал я.— Нет, стыдно. И смешно». Однажды в ночном бою я вдруг сделал «открытие»: человек, во всяком случае мужчина, произошел не от обезьяны, а от страуса. Прицельно работал их миномет, «трассы» сверкали, в любой момент реактивный снаряд мог жахнуть, а мне вдруг — не от страха, нет, я уж не «сыном» был, но и не совсем «дедушкой» — захотелось спрятать голову Оле под юбку. Страусиное это чувство мгновенно смылось, я его прогнал пинками, но запомнилось.

— Тепло тебе там, бесстыдник? — спросила Оля.— А девочка твоя наверху замерзла. Вылезай, слышишь? И открывай скорей вино. Ты там заснул?

Голос у нее был нежный. Нежными были ее руки, ее бедра. От нее пахло нежностью. Мне захотелось заплакать. Слезливый я стал. И ничего поделать с собой не могу.

— Ну, хватит, вылезай. Так бы и прожил всю жизнь у меня под юбкой?

— Ага. Всю жизнь.

Порыв ветра поднял со свалки тучу пепла, взлетели вороны, закаркали. Я протолкнул пальцем пробку вовнутрь и подал Оле «бомбу».

— Прямо из бутылки? Ладно. Господи благослови. Тихий ужас...

Она стала пить, откинув голову, прикрыв глаза, но пробка поднялась и застряла в горлышке.

— Никогда не пила ничего более гадкого,— сморщившись, сказала Оля, но протолкнула мизинцем пробку и выпила еще.

Я тоже выпил. Портвейн бухнул по голове, словно мешком, потому что давно не ели и почти не спали. Но первая волна улеглась. Прошел озноб. На свалку, на забор с колючей проволокой, на все вокруг смотреть стало веселей.

— Алкаши мы несчастные,— улынулась Оля, вытаскивая из сумки пачку «Явы». — Пили портвейн из

горла, дурь курили — так проводили они месяц медовый.

Она задумалась, глядя на свалку, и вдруг разразилась полупьяным похабным смехом. Но сразу оборвала его.

— Расскажи,— попросила,— как убили командира взвода.

— Зачем тебе?

— Я хочу знать, как убивают. Расскажи.

— Сейчас, здесь?

— Сейчас, здесь. Как?

— На дороге. Из нашего АКМа.

— Почему из нашего?

— У них много нашего оружия. Мы сопровождали колонну. Везли хлеб в высокогорные кишлаки. Там весь хлеб пожгли. А уже поздняя осень была. Они бы, может быть, и не напали, если бы им не донесли, что взводный там. За ним все время охотились. Ну, и вечером, незадолго до темноты, кумулятивными снарядами они подбили, как всегда, головную машину колонны и замыкающую. Был бой. И взводного убили.

— Все? — спросила Оля. — Это все, что ты можешь рассказать?

— Его не сразу убили. Сперва в руку ранили. А потом...

— Что?

— Олька, не умею я рассказывать.

— А что ты умеешь?

— Не знаю. Он лежал один на дороге, а подползти к нему мы не могли. Очень плотный был огонь. И «ЗИЛ» рядом пылал. И осветительные снаряды повесили. Светло было как днем.

— А почему он сам не уполз с дороги?

— Не мог. Они ему и вторую руку перебили. И потом играть начали: только он шевельнется, сразу пули рядом ложатся, в нескольких сантиметрах. А взводный матерится, он, понимаешь, должен был стоя последнюю пулю принять. Но с перебитыми руками как встанешь? И кровь, я не видел, чтобы из одного человека столько...

— Ужас.

— Ну вот.

— И убили?

— Нет. Долго не убивали. Ему почти удалось однажды подняться. Но они и ноги ему перебили.

— А вы лежали и смотрели.

— А что, что мы могли, ну что?!

— Во-первых, не ори на меня. Во-вторых, я не верю, что ничего нельзя было сделать. Гранату какую-нибудь бросить туда, откуда они стреляли. Мне папа рассказывал, как в Варшаве...

— Папа. В Варшаве. Папа у тебя герой.

Я хотел еще сказать Оле, что последнее перед смертью слово командира было «мама». Я бы не поверил, что человек может так кричать. Распятый на дороге, взводный закричал, чтобы услышали крик дома, в России: «Ма-ма!!» — и крест-накрест его прошили длинными очередями, потому что появился наш «шмель», вертолет огневой поддержки, и им стало уже не до игры. Мы отомстили. Лишь на рассвете ушли от кишлака, и дым стоял за нашей спиной. А взводный, рассказывали ребята, которые понесли его в лагерь, очнулся и все смотрел, смотрел на небо и на горы, а жизнь не уходила, такая жизнь, равной по силе которой, может, и не было больше, разве что в былинные времена. В лагере мы положили взводного на лафет БМП. Дали салют — три одиночных выстрела. Поцеловали его все по очереди. Ночью Пашка молча рыдал.

Но ничего этого я не сказал Оле.

— Не буду я тебе больше рассказывать.

— Дело твое, — она вытащила сигарету, стала ее разминать.

Мы долго молчали, глядя на ворон.

— Не буду, — повторил я. — Не надо ничего этого тебе знать.

— Ах, вот как? — отхлебнув из бутылки, она поставила ее на землю. — Ты решаешь, что мне надо, а чего не надо?

— Пусть твой папа тебе про войну рассказывает. Она прикурила и с наслаждением глубоко затянулась.

— Не хочешь?

— Нет, спасибо.

— Железобетонная все-таки у тебя воля. Ты настоящий мужчина.

Скривив в непонятной усмешке вишневые от вина

губы, закинув ногу на ногу, Оля посмотрела на меня из-под опущенных ресниц. Мне стало неприятно. Я спросил:

— Ты о чем?

— Все о том же, — она затаилась, держа сигарету кончиками пальцев, а усмешка на губах сделалась брезгливой, и она не пыталась это скрыть. — У тебя воля, ты настоящий мужчина. Какой же может быть мужик без силы воли?

По улице прогрохотал грузовик.

— Помнишь, когда мы пришли к твоему другу, я картонный домик строила?

— Помню, — сказал я.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— А вот у меня никакой нет воли, — она снова отпила из бутылки. — Я раз двадцать собиралась бросить и писала тебе, что бросила, помнишь? Но ничего у меня не получается. Ты меня научишь? Заставишь? Ты способен меня заставить? Знаешь, почему я вышла за тебя? Нет, я люблю тебя, конечно. Но еще — сказать? Я уже говорила... Мне безумно надоели все эти полумужчины, которые слоняются с рыбьими глазами у нас по институту, по улице Горького, по ялтинской набережной... Всюду. Ни в чем, и в себе прежде всего неуверенные, вечно сомневающиеся... Надоели, понимаешь? Когда ты вернулся, ты мне казался настоящим рыцарем. Не знаю, может быть, я все выдумала. Извини. Не обижайся. Я вечно выдумываю. А хорошо сидим, да? Я и представить себе не могла, что в своем свадебном путешествии буду сидеть на пустыре возле свалки и пить портвейн из горла и что мне будет так клево. Ты знаешь, прошлой зимой я ловила такси на Садовом кольце, и останавливается частник, приглашает в свою «Ладу». А у него там стерео, штучки разные иностранные...

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— Глупый, ничего же не было. Я бы и не села к нему, но холод, снег с дождем... — Оля замолчала и, склонив голову, поджав губы, внимательно на меня посмотрела. — А почему ты, собственно, так со мной разговариваешь? — спросила не своим голосом. — Кто дал тебе право? В конце концов, что хочу, то и рассказываю. Это уж, знаешь, мое личное дело. И он приглашал меня к себе домой на чашку кофе, и...

— Не надо, Оля.

— Что не надо? Что?!

— Не кричи.

— А почему это я не должна кричать?

— Тогда кричи.

— Ах так! — она вскочила, бутылка, стоявшая у нее в ногах, повалилась, и вино полилось в грязь. — Все, — сказала она, когда в бутылке ничего не осталось. — Довольно. С меня хватит. Привет.

— Это правда, Оля? — сказал я, и она остановилась, враждебно на меня глядя.

— Что?

— То, что мне рассказывали о тебе?

— Что я... Что я вообще подряд со всеми?

— Что ты делала аборт от Андрея Воронина — лейтенанта запаса.

— Ты... ты с ума сошел? — Оля побелела, у нее задрожала нижняя губа. — И ты, естественно, всему этому веришь?

— Я не знаю.

— Не знаешь? И как же ты женился-то на мне?

— Это правда? — повторил я.

— Что пробы негде ставить?

— Насчет аборта.

— А если правда? Что тогда? Ну что? Разведешься со мной? Да разводишься хоть сегодня! Жаль, загсы закрыты. Ничего, завтра приедем в Москву...

— Оля, успокойся...

— Пошел ты... — она полоснула мне по лицу ненавистным взглядом, повесила сумку на плечо и ушла, обходя лужи, а я глядел на нее, и что-то мешало мне встать и даже окликнуть ее.

Она плакала в подъезде, когда я разыскал ее. Если я верю всякой пакости, сказала, значит, все вранье насчет того, что люблю. Я попросил прощения, но она твердила: «Шлюха, шлюха, развратная, продажная тварь, со всем институтом переспала, со всей Москвой!» Я сел рядом с ней на ступеньку, обнял ее. Поцеловал, слизнул со щеки слезинку. Сказал, что не верю.

— Поклянись.

— Клянусь, — сказал я, но она плакала.

Она никогда не думала, что в свадебном путешествии будет пить портвейн рядом с вонючей свалкой.

Не думала, что ее выгонят из гостиницы в первую брачную ночь, что, голодная, усталая, с мокрыми ногами, будет скитаться по этому чужому холодному городу, где она никому не нужна...

Оля говорила так, будто одна сюда приехала, будто меня вовсе нет. Вспоминала, как ездила в детстве с папой в разные города и как хорошо было, как их встречали и возили на машине, показывали и рассказывали, угощали... Она думала, что и теперь так будет. Но все по-другому.

— Никакого аборта ни от кого я не делала! Но если бы даже и делала, кто был бы в этом виноват? Я ведь не мумия, а живой человек. Женщина. Кто меня бросил на целых два года? Кто сдал экзамены в институт, а потом нарочно забрал документы, чтобы...

— Чтобы что? — спросил я.

— Ничего, — ответила Оля. — Чтобы доказать себе что-то. Думал, героем вернешься, да? Никому здесь не нужно ваше геройство! Да и что вы там...

— Замолчи, Оля, — сказал я.

— Ударь меня. Ты умеешь это делать. Ты же герой, а я б...

— Ты не б., — сказал я. — Ты просто дура.

— Дура, — сказала она тихо, покорно и долго молчала. — Но у меня больше не будет в жизни свадебных путешествий, ты понимаешь? Да, мне хотелось быть красивой, поэтому я набрала с собой столько платьев, и чтобы все вокруг было красиво, и была вкусная еда, вкусное вино, и чистая широкая постель с накрахмаленным бельем, и чтобы светило солнце и все улыбались... Не понимаешь? — она вскинула воспаленные, в слезах глаза. — Прости меня, — сказала Оля. — Но я хотела, чтобы все у нас было по-другому. Прости.

Молча я взял ее за руку и вывел из подъезда. Моросил дождь. Дребезжали, стучали от ветра отливы на окнах. Навертывались на древки флаги.

— Ты меня не можешь любить, — сказала Оля. — Или ты не любил меня до армии. Потому что это два совершенно разных человека — ты тогдашний и ты теперьшний. И я другая. Это у нас с тобой просто детство было, а не любовь. А сейчас... Я сразу, когда ты вернулся, поняла, что ничего у нас с тобой быть не может.

— Почему же... зачем ты согласилась выйти за меня замуж?

— Честно? Не обижайся. Ты такой растерянный был, неуклюжий, лишний в нашей обычной жизни... такой жалкий.

— Пожалела? Спасибо.

— Нет, я тебя люблю, но... не слушай меня, я действительно дура. Не слушай!

До поезда оставалось еще пять часов. Мы пошли по улице в центр, я держал Олю под руку. В парке звучала песня «День Победы». Блестели под дождем медали и ордена фронтовиков.

— Ты стыдишься своего ордена? — спросила Оля. — Ты его не считаешь за награду, потому что вручили не торжественно, а в пыльном, заваленном бумагами кабинете военкомата?

— Я его считаю за награду, — сказал я. Отошел к стене, вытащил из кармана коробочку и привинтил Звезду на пиджак.

Мне и в самом деле вручили ее, как я рассказал Оле. Вызвали. Полчаса ждал в коридоре, вошел. Майор долго что-то писал, не обращая на меня внимания. Входили и выходили люди, а я стоял у дверей. Потом майор поднялся, пробурчал что-то, глядя в окно, сунул мне коробочку и сказал почему-то раздраженно: «Следующий». Если честно, я думал, будет иначе. Но разве в этом дело?

— Идет тебе, — улыбнулась Оля. Глаза ее все еще были мутными от слез.

— Куда ты хочешь, чтобы мы пошли сейчас? — сказал я.

— В самый лучший ресторан, — сказала Оля. — И чтобы ты там заказывал для меня музыку.

Я спросил у прохожего, какой в городе ресторан считается лучшим. Он назвал, но добавил, с сомнением глядя на мою Звезду, что попадем мы туда сегодня вряд ли.

— Попадем, — сказал я и взял Олю за руку.

У дверей ресторана толпился народ, в основном фронтовики.

— Очередь, — сказала Оля.

Я остановился, соображая, что предпринять, а Оля, спросив, кто последний, заняла очередь. Перед ней стояло человек пятнадцать.

— ...я ему тут прикладом, значит, хрясь по фашистской роже! — вспоминал крижистый, весь в орденах,

с седыми ресницами фронтовик в шляпе, вскидывая крепко сжатые круглые волосатые кулаки.— И ногой! Гляжу, а сзади прет на меня...

— ...вынесли мы его на плащ-палатке,— говорил другой.

— ...в самом конце апреля сорок пятого,— говорил третий,— может, в тот самый час, когда Гитлера сжигали, если, конечно, его...

— ...нет, а ты помнишь...

— ...свалил я его с двух ударов, а на меня с брестера еще двое здоровенных таких эсэсовцев — им тогда «язык» позарез был нужен...

«Десантники, сдавайтесь! — услышал я сквозь голоса фронтовиков у ресторана и шум машин на площади и музыку из окон.— Это говорю я, мулла Ахмад». И все вдруг стихло. Показалось, что слышно темноту. У Вити в ТТ оставалось два патрона, но ТТ мы называли «мухобойкой». У меня был пистолет-нож с одной малокалиберной пулей. И две гранаты на двоих. И две тротильные шашки. «У умного солдата и рукавица гранатой может стать»,— говорил взводный. И он умел это делать. Я размахнулся и швырнул в сторону пустой «рожок». Они тут же открыли на звук огонь, и Витя точно бросил оборонительную гранату. Снова стихло. Лишь кто-то из них слабо стонал внизу. Прошло минут пять. Зная, что нас двое, но по радиации мы могли вызвать подкрепление, они поползли. Ахмад тем временем через мегафон чуть ли не шутя описывал, что он с нами сделает, если мы не сдадимся, и что-то о Москве, о наших женщинах, но разобрать было трудно. «С-сука!» — закричал Витя, поймав в прибор ночного видения одного, который подполз к нам совсем близко, и застрелил из пистолета. И тут же человек восемь вскочили, но моя «эфка» разметала их, на скале над нами повис обрывок белой чалмы. Мы поняли, что нас окружили «черные аисты» — пакистанский отряд специального назначения, коммандос. Поняли, что вряд ли уйдем.

Группу фронтовиков пропустили в ресторан. Прошло время, и кряжистый, с седыми ресницами, вышел на улицу кого-то встретить или просто покурить. А мы все стояли. С козырька над входом в ресторан падали холодные капли, одна попала мне за шиворот и показала между лопатками.

— Дай ему трешник,— тихо сказала Оля, кивнув на швейцара, у которого на форменном кителе тоже поблескивали две медали.

— Что?

— Три рубля... Да разве ты можешь,— вздохнула Оля.— Ладно. Будем стоять.

Кряжистый снова что-то рассказывал, размахивая кулаками. Подошли еще фронтовики, кто-то назвал кряжистого Теркиным. Улыбались.

И когда, кроме тротильных шашек и ножей, у нас не осталось ничего, мы отползли к обрыву и, обнявшись на прощанье,— были б на нас кресты, крестами бы обменялись, как на Руси было принято,— стали спускаться. На нижнюю площадку первым спрыгнул Витя. Я не видел, что там произошло, слышал лишь крик, от которого у меня онемели и перестали сгибаться руки. Но в темноте внизу раздался чистый русский мат, и я очнулся, справился с руками. Спрыгнул, Витя дрался с двумя «аистами», из-за камня торчала чья-то неживая нога. «Коля, держись!» — крикнул Витя, метнулась сверху тень, но я опередил, и кошачий визг издало то, что было натренированным, обученным убивать человеческим телом, а теперь бесформенно извивалось и дергалось, пронзенное лезвием. «Сзади, Коля!» — рявкнул Витя, отбивая прикладом удар. Я отскочил, не совсем удачно увернувшись, и саданул здорovому бородачу ногой в пах...

— ...ну, падла фашистская, заполучи! — бушевал кряжистый, налитое кровью лоснящееся лицо его было страшным.— За родину! За товарища Сталина! — он пригибался, уходя от невидимых ударов и нанося по дождю размашистые удары прикладом, ногами, головой.

Оля подняла воротник куртки, вжав голову в плечи, смотрела на него.

Я подошел к двери и рванул ее на себя. Дверь была заперта. Швейцар посмотрел на меня, как на рыбу в аквариуме, зевнул и отошел.

— Откройте,— сказал я.

«Прыгай! Прыгай!» — заорал Витя, я обернулся, он пнул меня головой в живот, и тут же раздался взрыв. Но я уже лежал на дне ущелья в снегу. Острые камушки рассекли мне лоб и щеку. Витя подорвал тротильной шашкой себя и их, которые были на пло-

шадке. Пока «ансты» собирали останки, я успел отползти под скалу и обнаружил там узкий лаз в штольню. Раздевшись, я проскользнул туда и втащил вещи. Поискал в темноте камень, чтобы завалить лаз, но не нашел. Было так тихо, что казалось, они услышат сверху стук моего сердца и дыхание. Я почти не дышал, но от этого сердце стучало еще громче. Сперва я ни о чем не думал, лежал ничком и ждал, сжимая в окровавленной руке тротильную шашку. Нож я выронил, когда падал. Спустя несколько минут я почувствовал, что левая рука не сгибается и не двигается.

«Откройте,— сказал я и постучал костяшками пальцев по стеклу, но швейцар не обратил внимания.— Откройте!» — «Ты чего шумишь, пацан? — приблизился ко мне кряжистый. Увидев мой орден, он крякнул, крутанул головой и сказал: — Звезда? Так ты...» Все, кто был у ресторана, смотрели на меня. И Оля. «Ты сопляк,— сказал кряжистый, тяжело задышав.— Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы...»

Перетянув кое-как набитую осколками руку, вколов два промедола, я лежал ничком, прижавшись щекой к ледяному камню, и ждал, силы уходили, и мне хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Тошнило, я еле сдерживался. Совсем рядом слышались шаги. Голос. Мне казалось, я понимаю: «Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог». Другой голос. Может быть, в старости я все отчетливо вспомню, что чувствовал там, в штольне, о чем думал. Говорят, такое бывает. Жизнь свою, как пишут, я не вспоминал. И в той части души или мозга, где обычно помещается страх, было пусто. Попыток нечего бояться — тротильная шашка со мной, она не подведет. А чего еще бояться? Смерти? Нет, я не боялся смерти в тот момент. Я завидовал, если можно это назвать завистью. Ах, как я завидовал отцам и дедам — фронтовикам! Не было бы счастливей меня человека на земле, если б имел право я выползти из проклятой, хоть и спасшей жизнь, штольни, подняться в полный рост и со словами «За Родину!» пойти на них — пусть даже с голыми руками. Но права такого и воли на это я не имел — вот в чем все дело. Я мог лишь думать о Родине. Россия, Родина, держава... Недаром слова эти женского рода. И если пришлось бы рвануть шашку, то умер бы я, подумав

о маме и об Оле. И о тете Дуне. И значит — о Родине. Умер бы я — сколько бы ни говорили теперь и не писали, что все было зазря, — за Родину, этого у меня никто не отнимет. Потому что только за Родину, в конце концов, не страшно умирать. За ту, которая далеко и которая ничего обо мне не узнает. Которую еще три дня назад видел по телевизору — заснеженную милую мою Москву, Садовое кольцо, площадь Маяковского. В Москве ночью минус пять — семь, по области до минус десяти, днем — ноль — минус два, слабый снег. Снег в Москве. Снежок. А я здесь. И никто не знает. Умереть не страшно, я понял. Я это точно понял. Тем более, если готов, если навидался смерти, ходил с ней чуть ли не в обнимку и даже любовью по ночам занимался — под «градом». Если минуту назад твой товарищ подорвал себя. Если истекаешь кровью и почти уже нет сил ни на что — только лечь на шашку. «Смерть — курва», — говорил взводный. «А что мне ее бояться? — улыбался Миша Хитяев. — Пока я есть — смерти нет, когда она придет, меня уже не будет». Язык наткнулся на острый обломок зуба, и я вспомнил, что собирался завтра, верней, сегодня ехать в госпиталь. Пломбировать бы зуб не стали, нечего там пломбировать. И нерв бы уже не вытаскивали, что самое паршивое. Рванули бы корень — и все дела. Но теперь уж никаких дел. С Мишкой к морю после дембеля не съезжу. И об университете уж не мечтать. Ни о чем не мечтать. Снова голоса. «Разулу — ллах — иллаха — илла — ллах... Аллах акбар...» Похоже, они молились. И мне бы помолиться — вот о чем я подумал. Хоть и не верил никогда в Бога. «Отче наш...» — откуда мне помнить? Но не присягу ж наизусть читать. Не пионерскую клятву. А с матерщиной на устах смерть самая поганая, хуже звериной — Павел прав. А если жить останусь?.. «Ты сопляк, — сказал кряжистый. Так он сказал. — Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы там...» Если жить останусь — буду жить. Жить. Жить. Жить. И тут я вспомнил из какого-то кино: «Отче наш, иже еси на небеси. Да пресвятится имя твое. Да будет царствие твое...» Вспомнил! Боже, дева Мария, сделайте, ну сделайте так, чтобы я остался жить, ну хоть чуть-чуть пожил бы, ну хоть годик, месяц, ну неделю!.. Это

я лицом в свою теплую кровь ткнулся — вот и вспомнил про жизнь. Нет, думал я, прислушиваясь к скрипу снега под ногами «анстов». Умереть не страшно, нет. Хорошо бы еще их с собой на тот свет побольше уволочь. И жаль, конечно, что на этом свете от меня ничего, ни кровиночки не останется. Что тут сделаешь, мало прожил. Хотя могло бы уже сыну или дочери моей быть года три. И какая-нибудь родинка бы повторилась. Кривая мизинца. Волосы. Ладно. Не узнают — вот что страшно. Завалит в этой штольне — и никто не узнает. Как про деда не узнали... «Ты сопляк,— сказал кряжистый.— Мы кровь за Родину проливали, а вы там, вы... Они думают, что если убивали там, то и здесь им все можно!»

Голоса исчезли. Я оглох, будто контузило. Я видел искореженные лица, мне кто-то что-то говорил, кричал, тыча пальцем в орден, кто-то издалека смотрел на меня с жалостью. Оля схватила меня за руку и пыталась увести — но я окаменел. Теперь я понимаю, что никогда не был, не чувствовал себя столь близким деду, не под Гвадалахарой и не на Финской, а где-то у нас на Севере или в подвале в центре Москвы, — как тогда, лежа в заброшенной штольне. Мистика, конечно, но я бы мог поклясться, что слышу удары его сердца и они совпадают с моими, слышу его дыхание, вижу его серые глаза, глядящие в нацеленное в них дуло, — и вижу неживое, мертвое уже совсем, запорошенное снегом лицо деда с замерзшим на бескровных губах вопросом, неподвластным времени и тлену, вопросом, на который и я ответить не смог, не успел: «За что?» От Севильи до Гранады... от Гранады до Берлина... до Лубянки, Магадана... до Джелалабада... Сыну моему или дочери могло быть уже года три. Но через три года и девочка с огромными, смотрящими на меня глазами могла родить дочь или сына. И этого не будет. Слепым автоматным выстрелом я разрубил нить, которая тянулась бы тысячелетия. Я чужой этой земле, этим камням, холодным, мертвым, вечным. А глаза ее смотрели на меня. «Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог».

Толстые волосатые пальцы потянулись к моему ордену. «Коля, держись! — услышал я Витин голос.— И — прыгай!» Поперек горла встало что-то кроваво-распирающее, бешено пульсирующее, не дающее жить.

Я хотел сказать, но продраться смог бы лишь крик. И все же я выдал хриплое: «Уберите руки!» — «Коленька, Коля, пойдем, пойдем отсюда! Вы!.. Как вам не стыдно, у вас нет совести! Он не виноват, он ни в чем не виноват, его туда послали! Господи, ну как же жить?! Почему никто никого не понимает, не хочет понять, почему все такие жестокие! Его послали туда, понимаете?»

— Мы его не посылали, — услышал я.

— Ах, не посылали! — взвизгнула Оля. — А если бы ваш сын... Он вместо вашего сына... Неужели никогда вы так и не поймете друг друга?! Пойдем, миленький, успокойся, ну, пожалуйста!

— Пойди успокой его, — ухмыльнулся кряжистый. — Успокой, щенка.

— Вы сами, сами во всем виноваты! — Олина сумка взлетела и ударила кряжистого по лицу, потом еще кого-то, раскрылась, посыпались тюбики, флакончики, деньги. — Это вы, вы!.. — истошно кричала Оля. — Только троньте его, только попробуйте, я не знаю, что сделаю! Я вам всем глотки перегрызу! Он самый лучший, он...

Снова взлетела сумка, кто-то перехватил ее, и Оля разъяренно бросилась в толпу — но я успел поймать ее за руку.

— Пойдем, — сказал я. — Пойдем.

И мы пошли по улице под дождем. На привокзальной площади Оля остановилась, посмотрела мне в глаза, словно собираясь сказать что-то очень важное. Но ничего не сказала.

До поезда мы дремали и читали праздничные газеты в зале ожидания. Объявили посадку, мы вышли на перрон. Там шумели, хохотали, толкали друг друга призывники — в драных вылинявших телогрейках, узких школьных пиджачках, с рюкзаками и хозяйственными сумками, стриженные под машинку и длинноволосые, с гитарами и даже аккордеоном.

...А если что не так, не наше дело,
Как говорится, Родина велела,
Как славно быть ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом...

Мы подождали, пока они пройдут к задним вагонам. Капитан и с другой стороны старшина все пыта-

лись хоть немного подравнять колонну по шесть, как они ее называли, но ребята валили табуном, заполонив весь перрон, задирая девчонок, подставляя друг другу ножки, играя на ходу в «жучка». Выделялся из шума и гама вместе с четкими гитарными аккордами сильный сипловатый тенор:

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить...

Игорь Ленский с Мишей Хитяевым пели эту песню. Она взводному нравилась.

Мы вошли в наш СВ — никогда до этого в спальных вагонах ни я, ни Оля не ездили.

— Наконец-то,—выдохнула Оля и медленно опустилась на постель.— Как же я устала, узнал бы мир.

Она разулась, легла и еще до того, как поезд тронулся, уснула. Проснулась часа через два.

— Мы уже едем? — спросила, облизнув сухие губы.— А почему ты не спишь?

— Не хочется пока.

— Я очень хочу пить.

— Может быть, чаю? Он, правда, остыл уже...

— Нет, воды. Принеси, пожалуйста.

Я принес, она жадно выпила весь стакан и попросила еще, но передумала, как только я открыл дверь.

— Подожди. Сядь. Помнишь, ты говорил, что Виктор хочет обратно туда вернуться? Помнишь?

— Помню.

— И там, возле этого проклятого ресторана, ты подумал об этом? Скажи!

— Нет.

— Правда? — она крепко сжала мою руку обеими руками.

— Правда. Воды принести?

— Больше не хочу воды,— сказала, глядя в глаза.— Иди ко мне. Не надо тушить свет, я хочу, чтобы мы видели друг друга. Помогите...

Через полчаса, прикрывшись простыней, вытирая полотенцем пот с моего лба, она сказала:

— Только ради бога... Я знаю, ты сумасшедший, но возьми себя в руки. Будь мужчиной. Это бывает. У тебя действительно никого раньше не было? Это бы-

вает в первый раз. И я виновата, и устали мы ужасно. Сколько ты ночей не спишь? Думаешь, это не сказывается? Хочешь, мы завтра опять сойдем на твоей станции и поживем в деревне несколько дней? А? В какой-нибудь заброшенной избе. Сейчас ведь тепло уже. Ты будешь ловить рыбу в озере, я буду варить из нее уху. Парное молоко будем пить по вечерам... Хочешь?

— Хочу,— сказал я.

Вскоре она опять уснула, отвернувшись к стене,— будто ничего не случилось. А я не спал. Лежал одетый и слушал стук колес. Под утро тихо вышел из купе. Постояв в тамбуре, пошел по составу, спотыкаясь о чемоданы, мешки, торчащие ноги. В вагоне, где ехали призывники, у входа, уронив голову на руку с красной повязкой, спал дневальный. Напротив, в отсеке, спали капитан и старшина. Я прошел дальше. Запахи были совсем не армейские — пахло пивом, лимоном, курицей, туалетной водой, флакон с которой, наверное, разлился у кого-нибудь в рюкзаке. И спящие не храпели и не хрипели, как мы во сне, и не орали, и не матерились, а тихонько по-детски посапывали. Я сел за боковой столик. И вдруг сердце дернулось и замерло, покатались по спине холодные капли пота: впереди, через две секции, я увидел знакомый затылок, стриженный, круглый, с двумя макушками. Подошел — лопухие уши, родинка на шее. Костя Парамонов, которого застрелили в упор, когда ночью мы прочесывали кишлак. Бред. Я и в самом деле схожу с ума. А это кто внизу? Витя Левша.

— Витька!

— Чего? — заворочался опухший во сне губастый парень, совсем на Витю непохожий.

— Курить есть?

— На столе там.

Взяв папиросу и спички, я вышел в тамбур. Закурил. Голова от первой же затяжки пошла кругом. Перед глазами все поплыло. Я курил и смотрел на красную ручку стоп-крана, утопленную в стене. В разбитое окно дул холодный сырой ветер, но я не отходил, я представлял ему пылающее лицо, шею, грудь. Огоньки срывались с папиросы и бились о стену, словно живые, и падали, и гасли. Все быстрее стучали колеса, казалось, они догоняют друг друга. А все спят. И машинист с

помощником спят, иначе не проскакивали бы станции одну, за другой. И красные семафоры. Если я схожу с ума — ладно. А если нет и мы действительно несемся к гибели?

Я взялся за ручку стоп-крана и с силой дернул на себя. Ручка не работала. Выглянув в окно, я увидел, как состав изгибается на повороте — словно хвост гигантской ящерицы. Туман сзади. И впереди туман. Я пошел по составу вперед, но дверь вагона-ресторана была закрыта, я выбил локтем боковое окно, вылез на крышу и пополз на четвереньках, по-пластунски, едва удерживаясь под напором ледяного ветра, крыши были мокрыми, скользкими, добравшись до тепловоза, я свесился вниз, заглянул в кабину — там никого не было, ни машиниста, ни помощника, но стукнула у меня за спиной дверь, кто-то вышел в тамбур, и я понял, что заснул стоя, как после ночных нарядов в учебке мы засыпали на утреннем разводе в строю.

Я вернулся в купе.

— Это ты?

— Я.

— Где ты был?

— Курил.

— Курил?! — она вскинулась. — Ты же бросил! Как ты мог? Ты же обещал, ты клялся, что больше никогда не будешь курить!

— Что с тобой, Оля?

Она уткнулась лицом в подушку.

— Оленька, ты что? Милая, ну не плачь, пожалуйста. Из-за того, что я выкурил одну несчастную беломорину...

— Да! Из-за того!

— Прости, пожалуйста. Ну я не буду... Успокойся.

— Дурак ты, — прошептала она, дрожащими руками привлекая меня к себе. — Дурак. У меня даже встать не было сил. Я думала...

— Что ты думала?

— Какой же ты дурак.

15

Мы развелись зимой, через полгода после нашего грустного свадебного путешествия. Без скандалов, без

нервотрепки — тихо, покорно, точно не имели иного выбора, подали заявление и вскоре получили свидетельство о расторжении брака. Я снова вышла замуж, жила с мужем в Венгрии, родила двух девочек, построили кооператив, дачу, недавно сменили машину, работаем, отдыхаем на Куршской косе у родителей мужа или на Черном море, на Мысе, куда папа достает нам через друзей хорошие путевки. В общем, все слава богу. С Колей я иногда общаюсь по телефону — он звонит, поздравляет с праздниками, и я звоню, тоже поздравляю. Хотя поздравлять-то особенно не с чем. С исторического факультета МГУ, куда он неожиданно для всех поступил, сдавал экзамены на пятерки, получал повышенную стипендию, его из-за какого-то скандала выгнали, верней, перевели на заочное, но он сам потом ушел. Куда-то еще пытался поступать, работал дворником, грузчиком, даже могильщиком, кажется, — и пил. Однажды мы с мужем встретили его с бывшими однополчанами в пивном баре «Жигули». Не видела его года два и не сразу узнала — постарел, стерся, сжался, загнанность появилась в глазах и в то же время какая-то волчья готовность кусать, рвать, если нападут. Были там Виктор, преуспевающий кооператор, Саша, Павел Владычин, тоже себя не потерявший, и еще двое. Они отмечали какую-то годовщину. Муж согласился подсесть, выпить с ними водки из-под полы. Коля уже был пьян, а после этого стакана его вовсе развезло. «Нет, ты скажи, — привязался он к мужу, — почему я, я должен перед кем-то оправдываться, чего-то скрывать, таить, виноватым себя чувствовать, как будто что украл или убил...» — «А ты не убивал?» — не сдержалась я. Он долго молчал, глядя в кружку. Икнул. Посмотрел на мужа, меня не удостоив взглядом. «Убивал, — тихо ответил. — Да. Убивал. Убивал. Потому что на войне убивают. Для того она и война. Нас учили убивать. Нам приказывали убивать. И мы убивали. По приказу. И без приказа. Потому что нас убивали. С нас кожу сдирали. Нам... отрезали. Потому что все враги. От сопливого мальчишки до старухи, которая норовит тебе в плов мышьяка наложить. Или еще какой-нибудь гадости. Все враги, ты можешь понять? Вся страна. Все. Было это хоть где-нибудь когда-нибудь? Ошибочка, говорят, вышла. Времена застоя. А у нас все время ошибочки — начи-

ная с семнадцатого года. Уничтожили десять миллионов — ошибочка. Еще десять — еще одна. Еще двадцать — ошибочка. Или перегиб, как они выражаются. А мы-то в чем виноваты? Нас-то за что? Нет. Не буду я виниться и оправдываться. Никогда. Убивал! И детей убивал. И стариков. И пленных кончал — ножом в ухо. И насиловали — взводом...» — «Врешь ты, Коля, — сказала я. — Я же знаю, все ты врешь». Но он на меня не взглянул. «И кишлаки сжигали дотла. И...» Он выпил водки, запил пивом, уронил голову на руки. «Отрубился, — сказал Виктор. — Ладно, мужики, я поехал — дела». — «Поезжай, — прохрипел Коля. — Все проваливайте к долбаной матери. Не-на-вижу... — он стал подниматься, Павел сзади его удерживал. — Я не-на-вижу...» — «Кого ты ненавидишь?» — с усмешкой поинтересовался трезвый Виктор, а Коля лишь мотал головой из стороны в сторону и хрипел: «Не-на-ви-жу...» Потом он вырвался из рук Павла, поскользнулся, ударился лицом об угол стола, хлынула кровь. Я взяла мужа за руку, повела к выходу. За колонной оглянулась — окровавленный, истерзанный, страшный, он смотрел мне вслед, и я вдруг увидела того мальчишку, который провожал меня, нес мой портфель по темному двору, мечтая, чтоб на нас напали хулиганы. Если бы они тогда напали. Метрдотель с двумя милиционерами уже лавировали торопливо между столиками. Но внимание на них никто не обращал. Все пили теплое, разбавленное в меру пиво. Вязли и тонули голоса в дыму.

1983, 1987

ОН ВЕРНУЛСЯ

— Дней десять, как вернулся,— сказали в «Золотом руне».— В медалях весь.

Я сел в машину и поехал к нему домой, но Вера Игнатьевна, его мама, посмотрела на меня как-то странно и сказала:

— Его нету, Эдем.

— Но он вернулся?

— Да. Вернулся.

— А чего такая невеселая, тетя Вер? На мотоцикле он уехал?

— Нет. Мотоцикл разобранный в гараже стоит.

— Десять дней дома уже и до сих пор свой «Дуглас» не собрал? Не узнаю Мишку...

В кегельбане я встретил Надежду с подругами.

— Ко мне он не заходил.

— А к Мэрлин?

— Это ты у нее спроси.

Я поехал к сестрам-близнецам Апаназиди, но ни Мэрлин, ни Бриджит ничего не знали о Мишке.

— Хитяев мне вообще не писал,— сказала Бриджит.— Если вернулся, у ребят торчит на «профилактике». Или на кортах. Где ему еще быть? Знаешь, кому он писал? Белоусовой. Официантке из «Грибков». Он с ней после Ленки ходил, перед самой армией. Хитяеву, если увидишь, привет передавай пламенный. От сестер.

Лиду Белоусову я отыскал в поселке.

— А может, его с кем-то спутали? Сейчас многие возвращаются.

— Может,— сказал я.— Мама родная спутала.

На «профилактике», как у нас называют станцию техобслуживания, Мишки тоже не было. И на кортах.

Я сел в тени перекурить и вспомнил, как он играл с международным мастером из Москвы. Мячику теннисному негде было упасть: мальчишки, да и не только мальчишки, сидели и висели на ветвях платанов, растущих вокруг кортов, на трехметровой ограде и на крыше раздевалки. Мы все, естественно, болели за Мишку, но он сперва проигрывал мастеру, одетому во все фирменное и с самой что ни на есть фирменной ракеткой. Мы орали, свистели, кто-то сбегал за барабаном, появилась откуда-то и труба, и палили из пугачей,— короче, как в Италии или в Бразилии на футбольном матче. На пляжах почти никого не осталось, все пришли смотреть. Жара была за тридцать, на солнце все пятьдесят. Майка международного мастера почернела от пота, модная лента с головы слетела и больше он ее не завязывал, потому что было не до того. «Это тебе не на Уимблдоне!» — орали мы, и девчонки скандировали: «Ми-ша! Ми-ша!» Перелом наступил под вечер, когда тени от игроков стали длинными. И в конце концов Мишка выиграл. Мы его качали, потом поехали на двадцати машинах, включив «матюгальники», у кого они были, сигнала вовсю, к морю и от радости забросили Мишку чуть ли не к буйкам. Поздно вечером в честь победы залудили грандиозный шашлык, Миша восседал между лучшими нашими девочками — дочками Нептуна, чувствуя себя королем, а они ему подносили и целовали его, и международный мастер его целовал, говорил, что против Мишки ни Коннорс не устоит, ни Макинрой, а потом подарил ему свою ракетку и «аидасы» подарил бы, если б они подошли Мишке по размеру.

Оставив «Чарли» на стоянке, я пошел по пляжам. Загорали, но мало кто уже купался. До прошлого понедельника вода была теплая, почти как летом, но шторм взболтал море, словно в миксере, выворотив со дна вместе с холодной водой всякую гадость. Теперь уж до весны. Однажды, правда, и на Новый год мы искупались. Мишка поспорил тогда, что сделает на самом верху второго причала, на подъемнике для лодок стойку на руках, три минуты простоят и прыгнет в воду, крутанув сальто. Выиграл. Он всегда выигрывал, потому что проигрывать не умел. Бывают такие твердые парни.

Никитич, сторож на старом причале, бывший тан-

кист, тоже Мишку не видел. Я вернулся к корпусам.

— Приветик! — хлопнула меня сзади Наташка, когда я сидел в «холодильнике» и пил кофе.

— Привет. Кофе тебе двойной?

— Не, спасибо. От него давление. Это правда, что Мишенька Хитяев вернулся из армии?

— Говорят.

— Наконец-то! А то я совсем без него танго разучилась танцевать. Он где?

— В том-то и дело, что не знаю.

— Ладно, я пойду. Передай, что вечером я его в «Золотом руне» буду ждать. У него волосы-то хоть немножко отросли, не знаешь? А может быть, он на озере?

— Поднимусь сейчас.

Через час я был на озере в горах, объехал его вокруг, покричал, но мне ответило лишь эхо. Стал медленно спускаться, то и дело останавливаясь и выходя к реке.

На Мише была синяя джинсовая куртка и красная рубаха — иначе бы я не заметил его за кустами. Он сидел на валуне, нависшем над рекой, и смотрел вниз. Я хотел окликнуть, но что-то непривычное в нем меня остановило. Правый рукав его куртки был пуст.

Прошло много времени, а я все не решался подойти к Мише. Стало темнеть.

— Ты до утра там сидеть будешь? — сказал он вдруг тихо, но я расслышал и не понял, сам с собой он или относится это ко мне. — Эдик?

Он повернулся. Лицо у него было темным.

— Привет, — сказал он таким голосом, что я не решился его обнять.

— Здорово, Миша! Ты... ты вернулся?

— Как видишь.

— И... давно приехал-то?

— Неделью назад.

— Что ж ко мне-то не зашел?

Миша не ответил.

— Ну что, поехали куда-нибудь, а?

— Куда?

— Поехали к родителям моим. Сухенького примем этого урожая.

— Нет. Спасибо.

— Ну а... ты домой сейчас?

— Не знаю.

— Наташку видел в «холодильнике».

Я хотел сказать, что она ждет его в «Золотом руне», но не сказал.

— Ира с Мариной тебе привет просили передать.

— Спасибо,— сказал Миша.— Ты извини, Эдем, но я хочу побыть один.

— Ладно,— сказал я и пошел к машине.

— Подожди, Эдик,— окликнул Миша, когда я уже открыл дверцу и занес ногу, чтобы сесть.

Он подошел, сел за руль.

— Дай мне повести.

— Пожалуйста,— сказал я, обошел «Чарли» и сел с другой стороны.

Миша снял с ручника, машина покатилась, он воткнул левой рукой вторую передачу, потом третью, и через минуту мы уже шли на скорости девяносто километров в час. Меня хоть и прошиб пот на первом же крутом повороте, но я молчал, держась за ручку. В темноте мы выехали на трассу, я думал, что Миша свернет к нам на Мыс, но перед самым носом грузовика он вдруг резко свернул налево и погнал вдоль моря. На обочине голосовали трое хипарей или панков — парни и деваха с разукрашенными в разные цвета волосами. Я думал, Миша собирается остановиться, но, почти не снизив скорость, он пронесся мимо, одним колесом заехав на обочину и едва не сбив длинного парня, тот отскочил, кубарем покатился под откос.

— Ты чего, sdурел! Чего они тебе плохого сделали — хипуют себе.

— Ничего они мне плохого не сделали,— Миша еще прибавил газу.

На «Чарли» стоит форсированный двигатель от «шестерки», а на спидометре максимум 160, и поэтому стрелку временами зашкаливало. Дальний свет Миша не выключил, как ему ни сигналили встречные. Низко пригнувшись к рулю, он обгонял машины одну за другой, визжали на поворотах металлокордовые покрышки, мелькали звезды между скалами, буками и платанами, а справа держала нас на привязи лунная дорога. На переезде мы едва не угодили под скорый Ереван — Москва.

— Миша,— сказал я, но успел отдернуть руку от пустого рукава.

Часа через полтора кончился бензин. Миша ушел к морю. Я сел за руль и съехал на нейтралке.

Проснулся я от крика чаек, как мне показалось, но это Миша стонал.

— Болит? — прошептал я, и он тут же открыл глаза.

— Рука. Фантомная боль. Давно ее не было.

— Как тебя?

— Интересно?

— Не хочешь, не рассказывай.

— Из «сварки».

— Что это?

— Крупнокалиберный пулемет.

— Что, и сразу...

— Нет. Это уже в госпитале в Ленинграде.

— Долго ты там лежал?

— Два месяца.

— Написал бы — я б приехал.

— Зачем?

— Ну...

— Зачем это нужно?

— Что? — не понял я.

— Да все! — вскрикнул он. — Отстаньте вы от меня все! Вот на хрена, спрашивается, ты приехал? Не нужна мне ваша жалость, понял! Ничего мне от вас не надо, пошли вы со своими протезами!..

— Успокойся. С какими протезами?

Отвернувшись, Миша долго молчал. Потом сказал:

— Сосед обещает протез фирменный устроить. А мне в Ленинграде ясно сказано: «Ампутационная культя практически непротезируемая».

— И ничего нельзя сделать?

Он вышел из машины, сел у воды.

— Давай мидий на завтрак поджарим, — сказал я.

— Как хочешь.

— Я быстро наберу, ты посиди.

— Я помогу.

Метрах в двухстах от нас торчали из моря ржавые сваи — останки недостроенного причала. Я нырял, отрывал мидий, крупных, иссиня-черных, облепивших под водой сваи, и передавал их Мише. Потом мы нашла на свалке лист железа, как следует вычистили его песком. Развели между камнями костер, положили железо на камни и высыпали мидий. Через полчаса они были готовы.

— Эдик,— сказал Миша,— мне там снилось, что мы с тобой мидий едим.

— На вот тебе самую большую и жирную. Сейчас я ее открою...

— Не надо, Эдем,— сказал он.

— Что?

— Не надо мне самой большой и жирной мидии. И открывать не надо. Я сам.

— Сам так сам,— сказал я.— Жаль, уксуса нет. Летом он у меня всегда в багажнике.

Солнце поднялось уже высоко и грело по-летнему, когда мы раздобыли в поселке бензин и поехали обратно к Мысу. Море было ярко-синим, а небо — голубым. Сверкали на солнце кипенно-белые, розоватые, серебристые крылья чаек. Высились платаны и темные кипарисы вдоль дороги.

— Красиво,— сказал Миша.

— Да. Очень. Не рисовал там?

— Какой! Вначале чуток, в учебке еще... Все ду- мал — вот вернусь... Я скучал там по морю.

— Ни разу порыбачить не удалось?

— Карпов ловили в озере. На макуху.

— На что?

— Подсолнечный жмых. У нас так не ловят, Володька Шматов научил. И крабов ловили корзинками, майками, руками.

— Крабов — это не хило,— сказал я.

— Они там пресные. Маленькие. Но ничего, есть можно. Однажды с Витей Левшой наловили...

— И что?

— Да так,— помолчав, сказал Миша. И долго потом молчал.— Знаешь, Эдик,— он открыл окно, высу- нул голову, и ветер вздыбил белокрылый ежик волос.— А я все ж таки везучий. У нас каждый третий погиб. В батальоне спецназа. А я жив. Я вер- нулся.

— Это же здорово! — вскрикнул я.

— Здорово. Смотри, лодки.

— Слушай,— сказал я.— Пошли завтра на рыбал- ку. В море. А?

— Твоя «Жучка» все еще самая быстрая на побе- режье?

— Кто ж ее сделает-то, мою «Жучку»? — я под- мигнул.

— Как и твоего «Чарли». — Лицо Миши было неподвижным, точно одеревеневшим.

— Ну так идем завтра?

— Пораньше заходи за мной, — сказал он. — В крайнее справа окно постучи.

— Да, я помню.

— Хотя нет, не надо. Я на причал приду.

— Мне спиннинг американский подарили.

— У меня свой есть. Кто подарил-то?

— Отдыхала тут одна. Жена дипломата.

— Все обслуживаешь?

— Э, слушай, мужа в ООН срочно вызвали, женщина в тоске и печали осталась и в полном одиночестве.

— Развеял тоску?

— Не знаю. Сказала, что имя свое я оправдал, в раю она побывала и что отдыхать теперь только у нас на Мысе будет. Может, девчонок завтра возьмем? Как в тот раз, помнишь, перед самой твоей армией. Мэрлин с Бриджит. Или других. Хочешь, я сделаю?

Он посмотрел на меня, и захотелось исчезнуть и больше на глаза ему не попадаться.

Утром на причал он не пришел. Подождав до девяти, я поехал к нему домой. Он лежал одетый на кровати, закинув руки за голову, и глядел в потолок.

— Ты чего опять, Миш? Я жду...

— Эдем. Делать больше нечего? Самый деловой человек на побережье. Зачем тебе?

— Затем, что мы друзья.

— Какой из меня друг...

— Слушай, надоел! Мы друзья, Миша. Ты меня понял? — я выругался по-грузински.

— Эдик. Не надо мне этого.

— Не надо?!

— Не ори. Если Никитич, защитник Родины, орденосец и с обеими руками, всю жизнь бутылки на пляже собирает.... Он Родину защищал, понимаешь ты? А я...

— Что ты? Пошли на рыбалку.

— Не пойду я ни на какую рыбалку.

— Пойдешь. Я в пять утра встал, снасти налаживал, рачков ловил, мидий набрал полный таз... Пой-

дешь! — Я схватил его за ногу и стащил с кровати. — Слушай, дурака не делай из меня, да!

— Ладно. Пошли. Только вёрхом, не по улице.

На двух моторах мы быстро дошли до Косы, обогнули ее слева, встали на якорь. И тут только Миша заметил на сиденье специальное гнездо, которое я смастерил утром, чтобы он мог вставлять в него рукоять спиннинга и одной рукой крутить катушку. Я думал, опять вспылит, но он ничего не сказал. Размахнулся, забросил, большим пальцем притормозил, поставил удилище в гнездо и попробовал крутить — леска запуталась. Я вытащил «бороду», распутал. Он снова забросил, довольно далеко, стал наматывать леску, метрах в пяти от нас блеснули две серебряные ложки-ставриды, он весь напрягся, вздулись желваки, лицо налилось кровью, рыбины взметнулись в воздух, я вскочил, чтобы поймать их, потому что цеплялись они часто лишь за край губы, но промахнулся, сам чуть в воду не упал, а ставриды, шлепнувшись о борт «Жучки», ушли. На Мишу я боялся посмотреть. Качались молча на волнах. Снова хрипло завизжала его катушка, бултыхнулись в воду грузики. И он вытащил трех ставрид, затем сразу шесть, я тоже стал таскать, клев прерывался ненадолго и начинался вновь, мы стали очки считать, как в баскетболе: двадцать три — двадцать семь, тридцать пять — сорок, пятьдесят два — пятьдесят девять. Поглядывая на развевающийся на ветру рукав, я держал в голове, что должен проиграть, но увлекся, когда пошел огромный косяк, и к полудню счет стал семьдесят восемь — шестьдесят четыре в мою пользу. И клев прекратился. Мы еще побросали в разные стороны, но бесполезно.

— Поплыли на Косу, — сказал Миша.

— Ловить больше не будем? — спросил я, зная, что Миша не умеет — не умел, во всяком случае, проигрывать. — А то давай южнее проверим?

— Спасибо, Эдик.

— За что?

— За то, что в поддавки со мной не играл.

— Пожалуйста, — сказал я.

На песчаной Косе он стянул с себя джинсы и рубаху, остался в плавках. Лежа на животе, я смотрел на море, на чаек. Прошло минут десять.

— А ты — девочек возьмем, — сказал Миша ти-

хим, равнодушным голосом.— Сам боишься на меня взглянуть.

Я повернулся. Руки не было по самое плечо.

— Красиво? Мне одна москвичка-художница все твердила, что я на гладиатора похож. Смахиваю, как считаешь? Мы с ней обнаженными весь день здесь провалялись. У нее загар был потрясающий. Как негритянка. И все ей мало, мало было. Ненасытная.

Миша стал с подробностями, называя все своими именами, рассказывать то, о чем не рассказывал раньше никогда, о чем у нас на Мысе среди мужиков вообще не принято рассказывать.

— Это у тебя после контузии? — не сдержался я и пошел купаться.

Вода была потеплей, чем возле Мыса. Проплыл метров двадцать, я оглянулся и увидел, что он трясется, уткнувшись лицом в песок, рыдает. Но решил, что лучше ему побыть одному. И правильно сделал.

Мы поджарили на железе мидий, ставридок. На сладкое ели дыню, и Миша сказал, что особенно сочные сладкие дыни были на минном поле, таких дынь, как там, мне не попробовать; вернувшись в лагерь после боевой операции, после многокилометровых маршей по горам в семидесятиградусную на солнце жару, они обжирались дынями так, что шевельнуться не могли, в тени отлеживались.

— А если б из «сварки» в этот момент или ракетами?

— Хрен с ними. Однажды кино про войну привезли. А они с гор стали реактивными снарядами долбить. Только молодые попрятались. И то не все. Старики до конца войны, до знамени на рейхстаге фильм досмотрели. Вообще-то, не всегда стреляли. Только кажется так. Пошли купаться.

— Айда,— сказал я; в детстве по этой команде мы забежали в море.

Я поплыл, а Миша долго стоял по пояс в воде, не решаясь.

— Давай! — крикнул я.

И он медленно поплыл вдоль берега, одной рукой загребая по-собачьи воду под себя, хлебая ртом и погружаясь с головой. Он лучше всех на Мысе плавал баттерфляем, в спортивном лагере без тренировки выполнял норму первого разряда, и его пригласили в

спортроту — но он отказался. Лейтенант приходил к нему домой, уговаривал — ни в какую. «Пострелять хочу», — сказал он нам вечером на набережной. «В кого, Мишенька?» — спросила Бриджит, сидя на парапете, но он вместо ответа поцеловал ее в раскрытый накрашенный рот и долго не отпускал, как она ни мычала и ни брыкалась. А когда отпустил, сказала, ехидно улыбаясь: «Чем же они виноваты?» — «Кто?» — «Те, в кого ты пострелять хочешь. Что они тебе плохого сделали?» — «Мне лично — ничего». — «А кому? Леонида Ильича, бедненького, обидели?» — «При чем здесь? Они апрельскую революцию с дерьмом хотят смешать». — «Мишенька, ты серьезно?» — с интересом и даже с испугом посмотрела на него Бриджит. — Тебе что, и в самом деле этот мифический интернациональный долг не терпится выполнить?» — «При чем здесь интернациональный долг. Это политика. А что ты, баба в мини-юбке, смыслишь в большой политике?» — «Ничего», — согласилась Бриджит. — Пойдем лучше попляшем в «Алые паруса».

Искупавшись, мы лежали на песке возле воды, смотрели, как накатывают волны и пузырится желтоватая пена.

— Медуз много было этим летом?

— Мало, — ответил я. — Но большие. И жгучие. Одну мою знакомую в глаз ужалила.

— Жену дипломата?

— Нет, немку. Западную.

— Ты и вэст теперь обслуживаешь?

— Слюш-ш, прынцыпалный разныца нэт. Вот плавки подарила.

— И только-то? Мэрлин японец сто долларов за ночь заплатил.

— Дал бы я тебе промеж ушей...

— Дай. Шлюха ты валютная.

Я взял одежду и пошел к катеру.

— Поплыли домой, — сказал ему, не оборачиваясь.

— Плыви, я здесь останусь.

— Жить? Как знаешь. Твое дело.

Я вытолкнул «Жучку» с берега, запрыгнул, врубил мотор и пошел на северо-запад, к поселку. Но километра через полтора повернул направо, обогнул Косу и встал там на якорь, забросил спиннинг.

«Мне всю жизнь теперь вокруг него плясать лез-

гинку? — думал я. — Такое впечатление, что Эдем его туда заслал. И никто не знает еще, что он там делал. Если правду говорит... А если даже правду? Он мой друг. Хотя совсем другим стал. Там любой станет другим. Пострелял, называется. Нет чтоб в спортроте двойную пайку масла хавать».

Почти уже в сумерках я вернулся на Косу. Он сидел по-турецки у воды.

— Поплыли, хватит дуру валять, — сказал я, заглушив моторы. — У меня огни габаритные не горят. Слышишь?

— Эдик, помнишь Царя?

— Толика Царева, Валькиного брата?

— Мы мальчишками были, и он на причале нам рассказывал про Флориану, остров, на который мечтал поплыть. Помнишь?

— Мне столько про острова рассказывали и про разные мечты. — «Жучку» сносило, и я почти кричал. — При луне. Сядешь на берегу, обнимешь — и понеслась. Кто не мечтал об островах, ты мне скажи? Романтика. Алые паруса. Туфта все это. Там не понял?

Он не ответил. Я опустил весла, подгреб, выпрыгнул на песок. Сел рядом.

— Там не понял, — сказал он тихо. — Наоборот. Идешь по барханам, за спиной эрдэ — рюкзак десантника килограммов пятьдесят, на одном плече автомат или два. на другом ручной пулемет, спереди тоже что-нибудь болтается увесистое типа оборонительных гранат. Плаваешь в поту, пыль забивается в рот, в нос. Мозги плавятся. Уже ни страха нет, что из-за какого-нибудь бугра или дувала полчерепа тебе снесут, ни усталости. Ни даже жажды, потому что кажется, все внутри выгорело. Никаких вообще желаний и мыслей. Идешь, и вдруг остров весь в цветах, плещутся вокруг зеленовато-голубые волны. Это не мираж был. Больше никто из ребят этого острова не видел.

— Поплыли домой.

— Поплыли.

В ноябре его взяли на «профилактику» — оформлять заказ-наряды. Но перед Новым годом он оттуда ушел, никому ничего не объяснив. И лишь в конце зимы сказал мне, что не смог вытерпеть того, что до армии казалось нормой.

— А что Иван Сиропович сказал? — спросил я; Иван Сиропович с недавних пор стал одним из крестных отцов нашей автомафии.

— Ничего. Он знает, что в милицию к нему я не пойду. Я сказал просто — не мое это дело.

— К цеховикам тебя устроить, бижутерию всякую продавать, бирюльки? Кусок верный будешь в месяц иметь.

— Можно.

Но и от них он ушел, набив единственной рукой лицо одному из цеховых крестных отцов и почти со скандалом, чего никогда цеховики на своем участке не допускали.

Работал на пропускном пункте у входа в интуристовский комплекс, в кегельбане, на кортах — но и там своя, интуристовская мафия, которая готова была Мишу принять в семью, но не готова к его неожиданным эскападам и изобличениям.

И из юношеского военно-спортивного клуба, где работал инструктором, он вынужден был уйти, потому что вместо того, чтобы делиться с юношами боевым опытом, угрюмо молчал, а потом вдруг при посторонних — пришел по направлению военкомата защитник Сталинграда — рассказал, как прикончили двух пленных мальчишек и старика. Девать их было некуда: отделение уходило на боевую операцию, и погибло в том бою почти все, может быть, Бог — их или наш — покарал. Мишу спросили, верит ли в Бога, он ответил, что все, кто там был, не в каптерке отсиживался и не на свинарнике, а по-настоящему был, верят, но не все об этом кричат.

Хотел Миша вернуться к спорту — пробовал на водных лыжах кататься, держась одной рукой за фал, на лошади скакать, на мотоцикле ездить. Потом решил стать циркачом, как знаменитый наш земляк — однорукый цирковой гимнаст, и с утра до ночи поднимал гирию, подтягивался на турнике, придумывал свои упражнения и научился делать стойку на руке — «однолапого крокодила»...

А в начале лета запил. Я четыре дня его разыскивал, нашел у Надежды в погребке — он допивал остатки прошлогоднего вина. С трудом мне удалось его оттуда вытащить — вернее, вынести — на берег. У моря он очухался. Я думал, снова начнет о том, что все

бесполезно, все потеряно и не на что уже надеяться. Но Миша молчал; то, что в нем происходило, выдавали лишь его удары камнем о камень.

— Письмо получил от дружка, Кольки Хлебникова. Я его однажды раненого из-под огня вытаскивал. Пишет, что из свадебного путешествия вернулся. На исторический думает поступать.

— Вот видишь,— зачем-то ляпнул я.

— Что видишь? Видишь? — он с размаху ударил ладонью по культе.

— Слушай,— сказал я,— мы прошлым летом с одним писателем тут рыбу ловили. Хороший писатель — я с «Жучки» чуть от смеха не слетел, когда он рассказывал. Говорит, что самая лучшая на свете книга — про Дон Кихота. А написал ее знаешь кто?

— Сервантес.

— Точно. А знаешь, чего у этого Сервантеса не было?

— Чего?

— Руки! Он был ранен в морском сражении. А какую книгу написал!

Миша собирал вокруг себя голыши и бросал в воду — пускал «блины», считая вслух:

— Раз, два, три, четыре... «Дон Кихот» не о войне,— сказал.

— А о чем же?

— О похождениях хитроумного идадьго. Философская книга. О войне бы он не написал.

— Почему?

— Потому что был солдатом. А кто в мясорубке побывал, о ней писать не будет. Не сможет. У корреспондентов это хорошо получается. Приехал к нам один из журнала. Приказали взять его с собой на операцию и бойню по первому разряду устроить, чтобы он описал. Зажали мы в ущелье караван, который якобы из-за границы оружие вез. Уничтожили. Корреспондент тоже за милую душу палил. Потом фотографировался на фоне трупов. А оказалось, «деза» была самая обыкновенная. Дезинформация. Оружия не нашли. Но это мелочи. Издержки производства. Корреспондент потом расписал в журнале, как героически вел бой в ущелье с бандой, как пули у него над головой визжали. Открытие сделал; пулю, говорит, которая летит в тебя, не услышишь. Молодец. Мы с

ребятами от хохота чуть не подохли, когда читали.

— Ему тоже кушать надо.

— Само собой. Но они-то в чем виноваты?

— Кто?

— Которых мы в том ущелье для него положили.

Фуфлогологи они все — корреспонденты.

Наверху на дороге остановилась «Лада». Выскочили четверо здоровенных наголо стриженных парней, скидывая на бегу одежду, с гиканьем, свистом бросились к воде.

— Не знаешь, что это за потсы? — спросил Миша.

— Фашисты. Я вон того знаю, с цепью, папаша его у нас на Мысе живет. Царь их на старом причале вырубал, помнишь, когда старика того, смершевца, убили? Тогда они пацанятами были, а сейчас попробуй.

— Почему фашисты?

— Со свастики прошлым летом ходили. Гимны фашистские пели.

— А наши ребята что?

— Ничего. Эти целой толпой приезжали. И все вот такие накачанные бугаи.

— Башка трещит,— Миша достал из кармана бутылку с домашним вином, выдернул зубами пробку, отхлебнул.— Не желаешь?

Он поставил бутылку на камни. Фашисты орали, брызгались, резвились в воде, как негритята из детской песенки. Один из них — Женя, с цепью на шее, самый здоровый, «фюрер», как они его называли прошлым летом,— вышел на берег и, поигрывая лоснящейся мускулатурой, насвистывая, пошел к нам.

— Что ему, как думаешь? — спросил Миша.— Курить будет просить?

— Они не курят,— ответил я, напрягшись.

Женя приближался, глядя на нас прозрачными бесцветными глазами, чуть заметно улыбаясь. Трещала у него под ногами галька. Я знал, что он справится с нами в два счета, если захочет, но машинально огляделся, ища камень потяжелей. Больше, чем за себя, я боялся за Мишу. А он казался невозмутимым.

— Здорово, мужики,— рыкнул Женя, оскалившись в квадратной ухмылке, и сдал руку мне, потом протянул Мише, но Миша руки не заметил.— Местные будете?

— Будем,— сказал я.

— То-то гляжу, где-то я тебя видел. А ты...— он кивнул на пустой Мишин рукав.— Оттуда?

Миша молчал.

— У меня много корефанов оттуда.— Женя присел на корточки.— Уважаю вас, честно. Настоящие мужики. Сам бы туда пошел.

— Что ж помешало? — навел на него прищуренный взгляд Миша.

— Здоровье,— ухмыльнулся «фюрер», надув бицепсы.— Пьете?

— Хочешь? — предложил я.— Домашнее.

— Пить — здоровью вредить. И вам не советую.

— Без советчиков обойдемся,— рубанул Миша.

— Какие мы нервные. Ну ладно, не буду мешать. Отдыхай — заслужил. Мы сюда месяца на полтора. Так что повидаемся.

Их приехало тринадцать человек — фашистов-культуристов. Свастику они на этот раз открыто не носили, гимнов не пели поначалу и вообще были похожи на безобидных атлетов, приехавших отдохнуть и потренироваться. Жили в палатках на берегу. По утрам, часов в шесть, бегали вдоль моря, в плавках, босиком по камням, потом делали зарядку — сотни раз отжимались, приседали, держа над головой здоровенные булыжники, потом заплывали чуть ли не к горизонту и, возвратясь, шли на ферму пить парное молоко, есть творог, сыр, яйца. Днем загорали. Под вечер качались по полтора-два часа — притом не просто, а по науке, по инструкциям, один из них вел учет в тетради. Вечерами бродили по поселку или сидели в «Алых парусах», пили сок, глазели на танцующих и гоготали.

Впервые в этот приезд проявились они на диком пляже, слева от поселка, за старым причалом. У нас там организуется так называемый нудистский пляж, где с легкой руки, а может быть, ноги или какой-нибудь другой части тела известной киноактрисы загорают женщины и мужчины, пожилые и молодые — без всего. Милиция изредка устраивает на них облавы, но почти безуспешно, так как заранее об этом знают все. Фашисты же — по просьбе местных жителей, возмущавшихся голыми: «Безобразие, дети ходят, а они

тительками, хозяйством своим трясут, ни стыда, ни совести, совсем с ума посходили, сволочи!..» — нагрянули неожиданно, схватили дюжину nudists, долго со смаком фотографировали, чтобы отправить по адресу милиции фотокарточки на работу, и, затолкав в машины, не обращая внимания на угрозы мужчин, мольбы и плач женщин, повезли в город, высадили их в чем мама родила в самом центре, на площади возле памятника.

Стали охотиться — опять-таки якобы по просьбе местных жителей — за приезжими хипарями. Одного гнали вдоль моря километра четыре, отрезая ножницами и вырывая пряди волос, другого заставили на пляже побрить свою подругу, третьего, когда он изложил им свою философию всеобщей любви и братства, швырнули в яму с навозом. Ловили наркоту, которой много у нас развелось в последнее время, сдавали в милицию или заставляли всячески издеваться друг над другом. Ловили по вечерам возле интуристовского комплекса путанок, заезжих, местных не трогали, побаиваясь нашей мафии, а столичных ставили «на хор», пропускали у себя в лагере через «трамвай» и сажали на проходящий ночной московский поезд.

Стали по ночам жечь факелы, как прошлым летом, и горланить гимны. Никитич, бывший танкист, ругнул их, и они забросили его в камыши. Двух черноволосых студентов-москвичей, один из которых не выговаривал букву «р», заставили на набережной кричать хором: «Мы жиды порхатые!»

Тогда Мишка пошел к ним. Я тоже, чтобы не отпускать его одного. Они сидели вокруг костра.

— А, гамарджобаздоровенькибулыбаревдзэссала-малейкум! — встал нам навстречу Женя и пожал руки. — Милости просим, как говорится, к нашему огоньку.

Мы с Мишей присели.

— Вы, парни, понимаете, что так просто это не кончится, — сказал Миша.

— Что — это? — ухмыльнулся «фюрер». — Ты имеешь в виду танкиста ужравшегося, который тут за нами с бутылкой гонялся?

— Все имею в виду.

— Проституток, наркоманов, хипов и прочее дерь-

мо? Так ты что, за них? Никогда не поверю! Быть того не может. Пока ты кровь, как говорится, проливал, они торчали тут, ширялись, дрючились с неграми за валюту, позоря страну. Или ты за жидов? Сам жид? Не похож. Ты чего, в натуре? Я уважаю тебя...

— Обойдусь без твоего уважения.

— Ваших-то мы не трогаем. У танкиста почти прощения просили — когда протрезвел. А шлюх, хипов гасим, потому что плодятся они, как тараканы вонючие, спасу от них нет, смердят, позоря страну...

— Кончай ты — про страну, — оборвал Миша.

— Это почему же? Ты, вы все — гордость страны, а они — блевотина отчизны. Давить их надо. Мы — санитары общества. Если не мы, то кто?

— Уезжайте, — сказал Миша.

— Нет, старина. Недельки две-три покантуемся еще у вас. Позагораем. А там видно будет.

— Уезжайте. Прошу.

— Нам и менты ваши благодарность вынесли. Не, не уедем. Не проси. Встали! — скомандовал он своим.

Фашисты-культуристы отошли на специально выровненный пятачок, размялись и, взяв камни и чугунные бруски, стали качать трапециевидные, дельтовидные, широчайшие и прочие мышцы.

— Я предупредил вас, парни, — сказал Миша.

— Вали отсюда, интернационалист ссаный! — крикнул кто-то. — А то вторую клешню обломаем!

В тот вечер Мишка впервые после возвращения пришел в «Алые паруса». Женя в майке расхаживал по бару и предлагал всем помериться на руках силами, но никто не хотел, видя его бицепсы.

— Может, ты, воин? — сказал он, увидев Мишку.

Мой друг молча сел, стукнул локтем о стол.

— Да я шучу, — заулыбался Женя, но Миша глядел ему в глаза, и «фюрер» неохотно, но все-таки взял в свою руку Мишину кисть, надеясь разделаться с калеклой мгновенно.

Не получилось. Культурист-фашист-свирепел, наливался кровью, напрягаясь, однако Мишка, побледневший, упершись плечом с культей в стену, держался. Все, кто был в баре, затихли. Так прошло минут десять, полчаса, полтора — а они сидели, глядя в глаза друг другу, изо всех сил стараясь прижать руку

противника к столу. Иногда Жене это почти удавалось, но Миша в последний момент выравнивал руку, гораздо более тонкую, чем у культуриста, но, словно проволокой, обмотанную вздувшимися жилами, а лицо его было неподвижным, белым, как гипсовая маска, и глаза не выражали ничего. И Мишка бы победил, я уверен, если бы не Мэрлин: нетрезвая, в короткой юбке, с полуоткрытой грудью, размалеванная, как индейский вождь, она вошла в бар с каким-то иноземцем и, увидев, что происходит, не долго думая схватила графин с вином и разбила его о затылок «фюрера». Фашисты-культуристы молча выволокли ее на балкон, поставили там на колени, окружили плотным кольцом, забелели чьи-то ягодицы, она вырывалась, но ее держали за волосы... Иноземец, присев у стойки бара, с интересом наблюдал через открытую дверь за происходящим. Остальные посетители продолжали пить и танцевать, делая вид, что ничего не видят и не знают. Наших было человек семь, не больше, и против фашистов нам явно не светило. Но Миша вдруг вскочил, ринулся на балкон — и фашисты устроили ему пятый угол. Он падал, его подхватывали за руку или за ремень, поднимали и били кулаками в лицо, в живот.

— Убейте, парни! — молил он с надрывным криком, захлебываясь кровью. — Иначе я вас убью все равно! Убейте!

Гремела музыка. Бармен Зураб позвонил в милицию. Приехали они минут через сорок, когда «Алые паруса» были уже закрыты, мы с Мишкой сидели на скамейке в зарослях самшита. Его рвало кровью и желчью. В два часа ночи милиция уехала, а в половине третьего на берегу собралось тридцать человек, со всего Мыса, на машинах и мотоциклах.

Фашистского лагеря уже не было на месте. Мы рванули напрямик к выезду с Мыса, чтобы их перехватить, но гаишники на посту у «Золотого руна» сказали нам, что они не проезжали. Подождав на перекрестке, мы отправились к скале «Прощай, Родина». Они были там, ставили палатки. И сразу стали палить по нам мелкой дробью из обрезов. Разбили пару лобовых стекол, несколько фар, но никого не задел. Мы съехали вниз, остановились в темноте под скалой, чтобы обсудить план действий. И тут на самом верху скалы затрещал мотоцикл. Я узнал Мишкин голос, он что-

то кричал то ли им, то ли нам. Грохнул выстрел — Мишка исчез. Мы помчались по берегу прямо на лагерь — фашисты успели выстрелить всего несколько раз и бросились в море, уплыли в темноту. Шестерых мы выудили, вырубил на месте, двоих, среди которых был «фюрер» Женя, посадили в их «Ладу» и повезли на скалу.

Мишка сидел возле упавшего мотоцикла, держась за живот, вся рубаха его была в крови.

— Миша, что? — подскочил я.

— Зацепило.

— Перевязать?

— Не надо. После. Вы куда их?

— Разгоним и сбросим со скалы. На всякий случай влили им в пасти по бутылке чачи, пьяные, мол, слетели. Хотя в воде уж там не разберешь.

— Не делайте этого.

— Они фашисты, Мишка. Да и не смогу я уже ребят остановить.

— Останови.

— Озверели ребята!

— Останови, слышишь!

— Не буду!

— Пшел отсюда! — Мишка выматерился, обругав и мою мать.

Я ушел к ребятам. Они тянули жребий, кому садиться за руль «Лады». Выпало мне. Как будто знала обломанная снизу спичка, что однажды я уже почти сорвался с этой скалы, чудом «Чарли» меня спас, упав на нижнюю площадку и зацепившись колесами за камни.

Фашисты, связанные, сидели, прижавшись друг к другу, на заднем сиденье. Заставив выпить чачи с клофелином, ребята их развязали, «фюрера», уже впадающего в прострацию, пересадили вперед.

Я сел за руль и медленно поехал по шоссе, вспоминая, чтобы не задремала во мне ненависть, как они били на балконе Мишку и как на виду у всех измывались над Мэрлин.

Отъехав от скалы, я развернулся, включил дальний свет. Перевел на первую передачу, отпустил сцепление и тронулся. Мне надо было разогнать машину по крайней мере до восьмидесяти километров в час, чтобы она пробила собой кусты, растущие вдоль до-

роги, и вылетела с обрыва туда, где кончается отмель и начинается подводный обрыв, уходящий на большую глубину. И я быстро набирал скорость, петляя по серпантину, визжали протекторы, бились, словно бильярдные шары, головами о стекла фашисты. Перед последним поворотом стрелка спидометра была почти на сотне. Я выскочил на прямой отрезок, ведущий к площадке обозрения, где днем останавливаются автобусы с туристами, и вдруг фары выдернули из черноты разбитое окровавленное лицо, окровавленную рубаху. Мишка стоял в узком проломе между скалами на краю пропасти, куда я уже нацелил «Ладу», чтобы в последнюю секунду выпрыгнуть. До него оставалось несколько метров, когда я шибанул по тормозам, одновременно рванув ручник и резко выворачивая руль влево — «Лада» перевернулась и ударилась днищем о скалу. Женя открыл глаза, что-то пьяно пробормотал. Шевельнулся и другой. Я вылез, порезавшись о стекла, но боли не почувствовал. Миша все стоял на краю пропасти, держась за живот. Я подошел.

— Хватит, Эдик, — выдавил он еле слышно. — Хватит... крови.

— Спасибо тебе, Мишка.

Крутились по инерции колеса «Лады». Бежали к нам из темноты ребята.

1988

ИЛЬЯ МУРОМЦЕВ

1

Понять, что хочет от меня в час ночи этот Виктор, я не мог, а он настаивал: «Да это Виктор беспокоит, ты чего, Максим, не узнаешь?» Потом опять взял трубку старший лейтенант, дежурный сто восьмого отделения милиции, стал ухмыляться, мол, не признаю двоюродного брата из Елабуги, и тут я понял наконец, что никакой это не Виктор, а Илья и надо ехать выручать его на Пушкинскую.

Он сидел, сжав голову ручищами своими жилистыми, точно мяч на тренировке, между малолетними раскрашенными проститутками и наркоманом, судя по

глазам. Особого эффекта удостоверение мое не вызвало, но все-таки дежурный объяснил, что гражданин задержан, потому что рвался в Елисеевский и оказал сопротивление сотрудникам милиции, пытавшимся его утихомирить. «Как же удалось его утихомирить-то?» — я подивился, но дежурный не ответил и братишку моего двоюродного отпустить не пожелал. И я решил остаться до утра с Илюшей за компанию в холодной и сырой кутузке. «Ты ему поверил? Я — сопротивление? Смешно. Читал О'Генри? Как жена потребовала, чтобы муж-боксер достал ей персик ночью посреди зимы. Вернулся вчера с тренировки, еле на ногах держусь. Она хохочет, лежа на кровати с этим Генри. Говорит, а ты бы смог, мой зайчик, если ты, конечно, любишь? Я — устал, мол, завтра рано утром тренировка. Ни в какую. Ну, не жрамши сел в машину и поехал. Приезжаю на Смоленку в гастроном. Мне персик, говорю. А продавщицы смотрят, будто из дурдома я сбежал. Хихикают. И посылают в Елисеевский к директору — ты у него и птичьим молоком машину подзаправишь заодно. Приехал. А уже закрыто. Постучался сзади. Открывают. Объясняю. Знаешь, с торгашами я никак наладить не могу. На разных языках. Захлопнули они передо мною дверь. Чуть нос не прищемили. Вот и все. А имя и фамилию здесь не сказал, чтобы телегу не отправили. Мне на Европу через месяц. Думал, твоя ксива, как в тот раз. Ты извини, что среди ночи поднял. Ты не обижайся на меня».

Я познакомился с Ильей, когда еще писал о спорте и ходил на стадионы, думал, как и ныне, впрочем, думаю, что спорт в себе содержит столько тем, сюжетов, сколько, может быть, ничто другое, ни одна иная область человеческого самовыражения, что марафонский, например, забег, бокс, да любые стоящие состязания — модель, образчик жизни, и в судьбе спортсмена — истинного — все закономерно, и физически, и даже философски обусловлено. С Ильей мы одногодки, перешли на «ты», хотя ему, я чувствовал, давалось это нелегко — он был уже и мастером, и чемпионом, повидал три континента, но почтения провинциального к центральной прессе не утратил. Помню, как смущенно он едва ли не оправдывался: мол, Илья назвали в дедовскую честь, а деду равных не было по силе, дед богатырем был, мог быка убить одним ударом; и

как жал мне руку, когда мы прощались после первой встречи на «Динамо», — погрузив, как в кузов, мою кисть в свою чугунную, сухую, коренастую ладонь, он осторожно, точно женщине или ребенку, сжал, решил, что может и обидеть, и сдавил сильнее, тут же отпустил, а в светло-голубых глазах блеснул испуг: не слишком ли? Он пригласил меня к себе на новую квартиру, чтобы обстоятельно поговорить за чаем. «Я заварочку привез из Эдинбурга качественную. Королева Лизавета дня прожить не может без такого чая. Точно говорю». Квартира оказалась общежитием, с отдельной, правда, и достаточно просторной комнатой, в которой был порядок не московский — все лежало на своих местах, все было выстирано, выглажено, убрано, заправлено. «Хозяйку как зовут?» — осведомился я, но он пожал плечищами и улыбнулся, покраснев, ответил: «Сам себе хозяйка». Допоздна в тот вечер пили чай с малиновым и яблочным вареньем, присланным из дома, из Елабуги, что посреди России; под конец мне удалось-таки его разговорить, он рассказал о маме, об отце, о старшем брате, утонувшем в Каме, и о тренере Самсоныче, который заменил Илье отца... Я написал. В редакции статью отредактировали и сократили, а Илья — как передали мне — обиделся на что-то. Я звонил на стадион и в общежитие, но он молчал или мычал невнятно. Ну и черт с ним, я решил и принялся писать о плавании, о прыжках, о велоспорте. И лишь года через полтора, к спортивной журналистике поохладев, я встретил его в Киеве, и на Крещатике он объяснил, на что обиделся: рассказывал он мне о деде и отце, как человеку, а не как корреспонденту, я же написал про все в газете, да не это главное, а письма, что потом пошли со всей страны, мол, мужественный, стойкий, все спились в семье, а он стал чемпионом... «Да плевал я на таких газетчиков, ты понял! И жалеть меня не надо. Обойдемся без соплей». Я объяснил, как мог, и попросил прощения, хотя не знал, за что, и он простил, но больше ничего мне не рассказывал, не раскрывался. А в конце семидесятых поселились почти рядом, на Вернадского, и возвращались на его машине с Лилюного дня рождения, вернее, с их помолвки, на которой он впервые в жизни выпил и пошел на красный, чуть не сбил старушку, врезался в троллейбус. Я тогда сумел отмазать — обе-

шал в газете написать про доблестных гаишников статью. Илюша возле дома обнял так меня на радостях, что хрустнуло внутри и я потом неделю шевельнуть плечом не мог.

...Нас отпустили утром. Выяснилось, что сопротивление Илюша не оказывал. «Но вы, корреспондент,— сказал мне заступивший на дежурство капитан,— и нас поймите: проститутки, наркоманы, пьянь безродная, порой порядочного человека и не отличишь».

«Поедем вместе,— попросил Илья, когда мы вышли с ним на Пушкинскую площадь.— Скажешь что-нибудь Самсонычу. Тебе он верит. Выручи. Но я сначала Лиле позвоню, а то волнуется. Есть двушка?» Он зашел в кабину. Я не слышал, что он говорил, но видел, как переминался с ноги на ногу, оправдываясь, словно прогудел всю ночь, и как дрожит его губа, и как бледнеет он, и без того зеленый после ночи в катажке. «Ну, что Лилия?» — «Говорит, ей надоели мои выкрутасы». — «Персик-то она просила среди ночи?» — уточнил я. «Да, просила. Шутки я, оказываюсь, не понимаю». — «Так сказала?!» — «Юмор во мне начисто отсутствует. Еще сказала, чтобы справку взял. Из диспансера. Потому что неизвестно, где и с кем я шлялся ночь. Без справки на порог не пустит». — «Правда? Слушай, да она... да я бы ее так послал!..» — «Что? — Он сдвинул рукой мое плечо. — Ты что сказал? Ну повтори». — «Отстань, Илья». — «Ты повтори, что ты сказал про Лилю». — Он сдвинул плечо сильнее, в упор на меня глядя из-под темных вздыбленных бровей. «Кончай ты! Ничего я не сказал. Живи, как знаешь». — «Больше так не надо говорить, ты понял?» — «Понял». — «А на стадион поехали, прошу, Максим,— сказал он погодя.— Будь человеком. Ты пойми. Я все готов простить. Всем. Но за Лилю...» — «Да я понял, понял».

2

Я встречал Илью после победы. В Шереметьеве второй раз в жизни я увидел Лилю — смуглую, миниатюрную, пышноволосую брюнетку с необыкновенно тонкой талией, с печальными библейскими глазами, в длинной шубе из каракульчи. Очков она не признавала, близоруко шурилась; я поздоровался, хотел уйти,

ответа не дождавшись. «Ты Максим?» — Она спросила неуверенно, будто на ощупь, бархатным своим контральто. Я ответил. Лиля улыбнулась, глядя мне в глаза, — и я почувствовал, что запросто и сам бы мог попасться в эти шелковые сети; стоя рядом с ней, вдыхая запах «Жэ ву зэм» и слушая ее, я стал уже запутываться, когда объявили — самолет задерживается. «Не хочешь выпить кофе?» — предложил я. «Разве здесь есть кофе? — поднялись тяжелые ресницы, брови выгнулись. — Спасибо. Ихнюю бурду я не хочу. Уж лучше чаю». Мы пошли в кафе. Задумчиво мешая сахар ложечкой, оставив тоненький, с длиннющим ногтем пальчик, Лиля говорила об Илье — что он всего на три года моложе, а ей кажется, что она вдвое старше, почти мама, это утомительно, выматывает душу, мне, конечно, не понять, но так ей хочется хотя бы изредка быть девочкой, капризной, непослушной, ученицей быть, а не всезнающей учительницей. «Нет, не будет этого. — Она едва заметно грустно улыбнулась и вздохнула. — Дальше понесу свой крест. Хоть он и носит меня на руках. Он ведь не то что Кафку, он и Фицджеральда не читал! Дала ему с собой Булгакова, но больше чем уверена, что не открыл. — Она глотнула чаю, тяжело качнулись в ушах сережки, поднялись ресницы с высохшими крошечками краски, заблестели губы. — Ты читал в последней «Иностранке»?.. А «Аврору» ты выписываешь?.. В «Огоньке» рассказ был...» О поэзии поговорили. О кино. О том о сем. И вдруг: «Ты не поверишь — он и женщин до меня не знал. Я первая. В постели, как слепой котенок, был. Нет — слон. Ты представляешь?» — «Представляю. Но не очень», — улыбнулся я, но, встретившись с ней взглядом, скомкал, разорвал улыбку. «Ты Илью не любишь?» — «Я? — качнулись раздраженно перламутровые серьги, сузились огромные глаза. — Да я бы дня не прожила с ним, если б не любила! Я могла бы жить сейчас в Брюсселе, выйди я за Барина, дипломата! Я могла бы танцевать Кармен!» — «Ну, это вряд ли», — усомнился я, ошпаренный ее коротким взглядом, ибо знал — балет она оставила не по своей вине и воле — травма, но Илюша ни при чем, его тогда в помине еще не было в Москве. «Да? Вряд ли, полагаешь? Извини. За чай благодарю». Она пошла по залу, каблучками цокая, а я смотрел ей вслед и

жаль мне было моего приятеля — борца классического стиля, возвращающегося с победой.

Больше с ней в тот день мы не общались. Приземлился самолет. Спортсменов быстро пропустили сквозь таможню. Словно бык, Илья с букетом экзотических цветов рванулся к Лиле, ничего и никого кругом не замечая, а она, подобно королеве, поджидала его в стороне от всех встречающих, но, когда он приблизился, громадный и неудержимый, она словом или незаметным жестом будто бы вкопала его в землю пред собой — и лишь спустя секунды милостиво разрешила, показав на щечку, подойти, и он, согнувшись, бережно, как статуэтку антикварную, подняв за локотки, поцеловал ее. Потом начальник из Спорткомитета поздравлял, но Лиля мужа увела. Вернувшись с улицы за багажом, он подошел и, обнимая, озираясь, опустил в карман мне диктофончик. И шепнул: «Потом все, завтра в баню приезжай в двенадцать».

Утром я был занят и приехал в сауну на «Водный стадион» к обеду, но Илья с Самсонычем еще сидели, обливаясь потом, на полках малиновые и счастливые. Илья рассказывал, как многожды в полуфинале начинал бросок прогибом, но румын выскальзывал и сам делал захват, и как француз по-русски матерился перед схваткой, и как турок запищал в партере... «Ну, мужик, — похлопывал Илью невыездной тогда еще Самсоныч по спине, — но дело прошлое, проехали, как говорят. Маленько завтра оклемаешься, а с понедельника на мир готовиться начнем. Вытягивайся хорошенько. Венички отменные привез я с дачи. Ты пирожные там кушал? Глянь, жирком каким оброс. Так дело не пойдет, брат. Завтра с утречка в бассейне поработаем». — «Самсоныч, завтра ж выходной». — «А я тебя вагоны разгружать зову? Поплещешься для ради удовольствия чуток». — «Я знаю ваш чуток, Самсоныч, — километров пять, а то и всю десятку». — «Не ленись, Илюшка! Вечно сачкодавом возвращаешься с соревнований».

Николай Самсонович Решетников увидел в тощем долговязом пареньке борца на школьных состязаниях в Казани. «В нем настырность, ярость была. И азарт. Губу прикусит, скулы напряжинит, голову нагнет, точно бычок, — никто из пацанов не устоял, хоть были и поздоровее, и постарше. Был костяк, го-

дящийся для наработки мускулов». Сын кулака, Самсоныч в детстве выслан был с семьей на север. Воевал — сперва вину отца в штрафбате кровью искупил, затем сержантом, старшиною — до Берлина, до рейхстага, на котором расписался. Он с мальчишества привык пахать. Трудиться. В двадцать восемь стал борцом-тяжеловесом, в тридцать с лишним — чемпионом. И Илюше смог внушить, что в спорте нет талантов, это дурость телекомментаторов — «талантливый спортсмен», а есть физические данные, характер и работа, труд, почти батраческий, от света и до света, — гири, штанга, лыжи, кроссы на рассвете — летом и в сорокаградусный мороз, прыжки в длину и в высоту, через «коня», через «козла» раз по пятьсот, толкание ядра, борьба с тяжеловесами (хотя Илья был полутяжем), тысяча, десятки, сотни тысяч яростных бросков многопудового неподдающегося, ни слезам не верящего, ни мольбам, ни клятвам чучела, борьба с богатырем Самсонычем, «вжимание в ковер»... И высшая награда тренера: «Мужик».

Самсоныч вышел из парилки, мы с Ильей остались. «Ты такой хотел магнитофончик?» — «Да! Не знаю, как благодарить. Мне для работы. Сколько должен?» — «А по шее ты давно не получал, корреспондент? — осведомился чемпион. — Иль перегрелся? Топай в душ».

Когда потом сидели, завернувшись в простыни, в предбаннике и пили чай с жасмином, привезенный «из-за речки», он вздохнул, опустошив могучую грудную клетку, как-то весь осел, осунулся и будто постарел. «Не знаю, что и делать». — «Ты о чем?» — «О том же. Сапоги купил — она мне в морду их швырнула. Говорит, такие уже носят все в Москве. А я откуда знал? Купил ей свитер — цвет поганый. И колготки велики. Или малы. Или не тот рисунок — вместо рыбок бабочки. К себе даже не подпустила ночью из-за этих долбанных колготок! Больше месяца не виделись — сперва на сборах был... За что она меня так, а? Ну что я ей плохого сделал?» — «Да, — промолвил я. — Тоска. А если бы заметила, что ты мне диктофон привез?» — «Загрызла бы», — сказал Илья, но вдруг напрягся, словно выдал государственную тайну, встал, отбросил простыню и молча начал одеваться, на меня не глядя. И ушел. Но подождал в машине. «Ты ку-

да?» — «На Маяковку». До «Динамо» напряженно слушали магнитофон, как будто крайне важное тайлось в музыке Таривердиева. «Булгакова хоть прочитал?» — спросил я возле светофора. «Лилия рассказала? Прочитал. Понравилась «Белая гвардия». — «А «Мастер»?» — «Мастер» тоже. Но особенно «Белая гвардия». Такие люди. Я все думаю: кому же это надо было? И зачем?» — «Что надо было?» — «Вся гражданская война. Чтоб брат на брата. На отца сын. И вообще». Остановились возле Маяковской. Попрощались как-то странно, словно ничего не связывало нас.

Увиделись лишь через год. Он был на сборах, на соревнованиях, болел, переезжал на новую квартиру, мебель доставал, менял машину. Я мотался по командировкам и отписывался. Встретились мы в Люблино на станции. Илья пытался доказать, что распредвал во время техобслуживания заменили и реле поставили не новое и что-то там еще, но на него смотрели авто-слесари, как на ребенка, хоть и круто снизу вверх, и улыбались, а ко мне вернулось ощущение, что он с другой планеты или уж во всяком случае — другого века. Зурик, мой знакомый кладовщик (которому я доставал билеты на концерты и на все премьеры МХАТа), тихо мирно все уладил. «Научи, — просил Илья, — как с ними говорить, а? Ты умеешь». — «Ничего я не умею. Просто познакомились случайно с этим Зуриком на юге. Мидий жарили». — «А мебель финскую достать не может? Я бы заплатил». — «Илюха ты, Илюха. Илья Муромец. Ты все такой же. Мебель финскую достать сегодня потрудней, чем соловья-разбойника схватить и в стольный Киев привезти. Что, обязательно ей финскую?» — «У наших — из команды — финская. У всех». — «А ты что ж проморгал?» — «В больнице был. Потом на показательные ездил. Да она разве поймет? И разговаривать не хочет — надое-ло, говорит. Все успевают вовремя подсуетиться, только я один такой. Максим». — «Что?» — «Ничего. А может, я и правда, этот... пентюх, в общем? Лилия говорит, что у меня одна извилина и та, скорей всего, прямая». — «Неужели? Ну а ты ей что на это?» Он пожал плечами, улыбнулся угловато — я заметил сеточки морщин у глаз, поблеклых, далеко уже не юношеских, и седую прядь волос над ухом. «Ничего, — ответил

он.— Что я могу сказать? Попробую сдать сессию как следует».— «Ты что, студент?» — «Заочник».— «Физкультурный?» — «Если бы. Нет, институт культуры. На библиотекаря учусь».— «Серьезно? Не смей меня».— «Какой там смех»,— вздохнул Илья. «Она устроила?» — «Нет, сам сдавал экзамены. Хотя считает, что она — все. Слушай, в Ленинград не хочешь съездить? Первенство Союза. Пообщаемся хоть, а? Сто лет не виделись. Возьми командировку. Ты по-прежнему в газете?» — «Из отдела спорта я ушел. В журнал — в отдел литературы и искусства».— «А, ну».— «Но в Питере всегда дела найдутся».

3

Поселился я на Лиговке у друга, а Илья в гостинице неподалеку от «Авроры», и встречались мы на полпути, в начале Невского проспекта, в полдень или позже — после тренировок. Был ноябрь. Моросил холодный вялый дождь, порой со снегом. Вздудась бурая тревожная Нева. Народ спешил, чихая, кашляя, куря, неся портфели, сумки, защищаясь от дождя зонтами. В лужах отражались опечаленные беспросветным небом классицизм, барокко, рококо. Адмиралтейская игла пронзала тучи. Мы с Ильей бродили по пустынным набережным Мойки и Фонтанки, я рассказывал о декабристах и народовольцах, о Петре, Екатерине, он просил рассказывать еще и проклинал себя за то, что ни черта не знает, валенок — и только, Лиля верно говорит. Зашли в квартиру Пушкина на Мойке. Там, в библиотеке, где скончался Александр Сергеевич, Илья стоял возле стены, ссутулившись и глядя в пол, когда экскурсовод рассказывала о Дантесе и Данзасе, о морошке перед смертью, и, когда экскурсия ушла, Илья остался, погруженный в зиму восьмьсот тридцать седьмого года, и глаза его были влажны; старушка, крохотная, седенькая, из другого зала все глядела на Илью, потом на лестнице шепнула тихо, взяв за палец: «Вы хороший человек. Дай Бог вам».

У Пассажа пообедали. «Пошли в Русский музей», — сказал Илья.— К Иван Ивановичу».— «К кому? — не понял я, а он смутился вдруг, отвел глаза, крутые скулы и виски покрылись пятнами.— Чудной ты. Кто

такой Иван Иванович? Друг твой?».— «Шишкин. Мой земляк». Я рассмеялся, а Илья так стиснул зубы, что на скулах желваки надулись, словно бицепсы. «И ты смеешься? — еле слышно прошептал. — Ну, смейся. Хочи. Бывай. Пока». Я пробовал его догнать — на Невском, на мосту — но он лишь огрызался угрожающе.

А объяснил Илья весной, перед отлетом в Тегеран, когда мы снова помирились. «Понимаешь, я сказал, что Шишкина люблю — она не то что на смех подняла меня, с дерьмом смешала. Сальвадор Дали, Шагал, Кандинский, Пикассо, Малевич — это да, а я со своим Шишкиным несчастным. Я не в курсе, может, и фотограф — так считают. Только я бы за его «Среди долины ровныя...» или за «Рожь» отдал бы... Ладно, что там говорить. Велела Пруста прочитать. Чуть челюсть не свернул от скуки. Но читал. И дочитал до самого конца. А Куприна она мне запретила. Для подростков, говорит. Но я читал на кухне вечером «Гамбринус». Ворвалась, набросилась... Наутро я отвез все шесть томов в букинистический. Она со мной давно уж по-нормальному не разговаривает. Только указания: то привези из-за кордона, это. На права сдала. Теперь машину хочет, иномарку обязательно, пусть и не новую. А где мне ее взять-то? И квартира ей мала уже. И дачу хочет. С сауной и телефоном». — «Вам ребенка бы», — я сдуру ляпнул. Он мне не ответил, а в глазах застыла грусть, немая, неотвязная. «Не хочет, — помолчав, сказал Илья, как будто о другом уже. — И так ради меня, ради моей карьеры всем пожертвовала — и еще ребенка. Для себя хочет пожить».

Газеты после Тегерана увлеклись фольклором, больше, правда, древнегреческим, чем русским. Муромцева называли почему-то нашим Геркулесом и Гераклом. В Тегеран Самсоныча пустили, он рассказывал, как на «Фарахе» чемпион Олимпиады Кош атаковал Илью и первый, и второй периоды. Жара чудовищная, стадион открытый, солнце лупит по коврам, взрывают что-то на трибунах, визги, рев. И показалось, что Илья сдает, никак не получается захват, чтоб провести бросок прогибом; начинает слева — Кош выскальзывает, тело его словно рыбьим жиром смазано, идет направо — попадает сам в захват, и видно, что

дыхание кончается, вот-вот удастся Кошу вовсе его сбить и провести коронный свой захват, бросок — Илюха на лопатках и четыре балла, высшая, победная оценка. Но не тут-то было. За минуту до конца все, кто следил за поединком, видели — Илья, каким-то чудом избежав броска, «поплыл»-таки в нокдауне, и Кош, почувствовав, что руки русского как ватные, пошел в последнюю атаку, мысленно переводя на счет сто тысяч за победу, — шаг, обманное движение, Илья качнулся вправо, Кош проводит слева вязкий захват корпуса, перемещает центр тяжести и — что произошло, никто не понял, только почему-то ноги Коша взмыли вверх в пыли ковра и на лопатках оказался олимпийский чемпион, Илья же Муромцев — Союз Советских Социалистических Республик — наверху: победа, чистая победа! А Самсоныч на трибуне плакал.

На пути из Тегерана на таможне Муромцева задержали — слишком много вез дубленок и каких-то женских украшений. Но замяли — с помощью высокого начальства из Спорткомитета. Почему-то объявили выговор Самсонычу.

В конце весны Илья разбился на машине. День и ночь провел в реанимации, и Лиля от дверей не отходила, волосы рвала почти в буквальном смысле и рыдала: «Это я все, я, прости мне, Боже мой, я виновата!» Дело было так. Они поехали к друзьям на дачу, Лиля встретила там первую свою любовь — преподавателя балетной школы Жака, напилась, исчезла, а Илье шепнул кто-то по-дружески, что престарелый Жак ее увез к себе, чтоб стариной тряхнуть. Илья помчался под дождем в Москву, на повороте занесло, и встречный «РАФ» ударил в бок, после чего «жигуль» перевернулся и слетел с шоссе в овраг и вспыхнул, но Илья успел катапультироваться. А она тем временем спала на даче, в гамаке между берез. А Жака женщины не занимали с детства — это было всем известно. Просто пошутили.

4

Я ходил к нему в больницу — и всегда встречал там Лилю. И не узнавал. За несколько недель она так изменилась, что порой я сомневался в том, что прежде ее знал. «Илюшенька, Илья, Илюша, милый, дорогой,

единственный мой мальчик», — этих слов я никогда не слышал. И не замечал, как трогательно-беззащитна вся она, надрыв огромных впалых глаз не замечал. Мы подружились. Сидя на ее любимой кухне, между самоварами, матрешками, цветами, разговаривали обо всем на свете и засиживались за полночь — она показывала фотографии, афиши, грамоты, дипломы и рассказывала про училище и как во сне бывала Айседорой, Анной Павловой, Улановой, Алонсо, как едва не утонула в розах на премьере «Дон Кихота» Минкуса, где танцевала Дульсинею, и на следующий день была приглашена в Большой театр... «Бедный мой Илюша, — говорила Лиля тихо, грустно, нежно, — добрый, чистый. Неудавшаяся балерина — что ужасней может быть, подумай! Как он меня терпит? Знал бы ты, какие я истерики закатываю по утрам. Дубленки эти из Ирана — для моих подруг. Илюша... он святой. Я больше никогда, клянусь, Максим! Любимый Илья Муромец...»

Недели через две Илье позволили гулять, и мы подолгу с ним сидели вечерами на скамейке. За оградой на проспекте грохотали многотонные грузовики с прицепами, автобусы гудели — в парке было тихо, листья шелестели, тополиный пух витал и, заполняя трещины, разломы, выстилал дорожки. «Зиму вспоминаю, когда пух летит, — сказал Илья. — Мальчишками катались на коньках почти по перволедку. Я и провалился. Не везло всегда. Пошли к дружку домой, чтоб подсушиться. Дед его сидел у самовара. Я разделся, завернулся в одеяло. Ну, садитесь, говорит, разбойники. Налил нам чаю, наложил варенья. Стали пить. А дед уставился и смотрит, смотрит на меня. «Чего ты, дед?» — спросил мой друг. «Русак — а скулы-то татарские. Родился посреди России». — «Ну и что?» — «Да то-то и оно». Илья поднялся со скамьи, заковылял неловко, не привыкнув к костылям, остановился у беседки, глядя на блестящую между деревьями Москву-реку. «Скучаю я по Каме. Расширякая она. Свободная. А может, и не надо было?» — «Что?» — «Не надо было мне в Москву. Как был провинциалом, так остался. А она...» — «Москва?» — «Нет, Лиля. Иногда мне кажется, что если и не любит, то во всяком случае хоть что-то есть. Но редко. Чаще — ничего. И даже хуже. Хуже, чем чужие люди. Понимаешь?

Потому что разные мы». — «Это точно», — согласился я. «Она такая... Одного не понимаю: что она во мне нашла? Ведь дипломат был. И другие. А теперь я виноват во всем. Что балерина из нее не вышла. Даже в том, что дед мой убежал в Америку. Что батя спился и повесился. Наследственность чудовищная, говорит. А я хочу ребенка! И вообще терпеть меня не может. Возвращаюсь из загранки — первые минут пятнадцать — двадцать ничего, нормально. А потом...» — «После аварии она другая стала, ты заметил?» — «Это и хреново». — «Почему?» — «Да не привык я. Что-то здесь не то. Уж лучше бы, как раньше. Хоть понятно».

В Лилин день рождения Илья ходил уже без костюлей, хотя прихрамывал. Наевшись и напившись, стали танцевать. Самсоныч, в орденах, медалях, важный, молчаливый, восседал в углу, единственный из всех гостей не улыбался, глядя, как Илья танцует с Лилей — двухметровый великан с фарфоровой тончайшей статуэткой. В длинном черном платье, с алой розой в волосах, она была очаровательна. Произносили тосты за любовь, за красоту, талант, ум, женственность и обаяние хозяйки. Танцевали рок-н-ролл и вальс. И вдруг раздался вопль. Все расступились — Лилия, стоя в центре комнаты, могильно бледная, глядела в потолок, катились слезы по ее напудренным щекам. Илья хотел что-то сказать, но Лилия пальцами порхнула — он осекся. «Мразь, животное, уйди, уйди отсюда, — еле слышно выдавила. — Пусть уйдет. Как больно, Боже мой... За что такое наказание? Как больно, мамочка». Она осела на пол, точно лебедь умирающий. Мужчины уложили Лилию на диван, отпаивали валерьянкой. Мы с Ильей стояли у окна на лестничной площадке. «Ты мне веришь? — говорил он. — Я клянусь чем хочешь — на ногу я ей не наступал. Клянусь». — «А что случилось?» — «Я не понимаю. На ногу я ей не наступал. Ты можешь водки принести из комнаты? Но так, чтоб не заметили».

Мы вышли из подъезда. «Эх, поднять бы что-нибудь да зашвырнуть к такой-то матери! — сказал Илья. — Давай тебя подброшу». — «Чан помойный за забор швырни, чтоб вид не портил», — посоветовал я. Он присел, стал поднимать, но чан, в котором было килограммов двести, накренился и помои вывалились на асфальт и на голову силачу. Пенсионеры от подъ-

езда разорались, появилась как назло милиция. Помог мы собрали, но «телега» все-таки пришла — о том, что Муромцев Илья в нетрезвом состоянии город-герой Москву хотел загадить.

Как-то вечером звонит мой бывший заведом, просит написать спортивный фельетон, рассказывает, как жена потребовала, чтобы муж, борец-тяжеловес, поставил ультиматум своему начальству: или он вообще уходит, или назначают тренером ее — она певичкой была раньше или пианисткой. «Балериной, — говорю. — Писать не буду».

Позвонил Самсонычу, и он сказал, что это правда, и Илья на самом деле так вопрос поставил: или — или. «Это же абсурд!» — «Да, — тяжело, с болью, словно дал о себе знать в груди осколок, выдохнул Самсоныч. — А какой борец был. Был, да сплыл. Шерше ля бабу, как считают лягушатники. В Париж решила съездить. И Олимпиада без нее никак не обойдется».

5

Месяца за два до Олимпийских игр, поздно вечером заваливается Илья, необычайно возбужденный, с лихорадочно блестящими глазами. Но вином не пахло от него. «Она мне изменяет, я уверен». — «Видел сам?» — «Не видел — чувствую. Уверен». — «Ты под допингом?» — «С чего ты взял? Я эти шутки не люблю. Она мне изменяет, понимаешь? Спит с другим. В одной кровати. Я убью». — «Кого?» — «Не знаю еще. Но убью. Размажу по стене кремлевской». — «Почему кремлевской?» — «Все равно какой. Размажу». — «Что с тобой, Илюха? В клинику устроить? У меня профессор есть знакомый». — «Да пошел ты со своим профессором! Ложись в психушку сам. А я его размажу!» Он еще побушевал, потом затих, обмяк весь. Мы сидели молча, слушая, как тикают часы. «Поехали к Тамарке? — предложил я. — Моей бывшей однокласснице». — «Которая без комплексов?» — «Поехали, она все время спрашивает, как Илюша поживает?» — «Нет». — «Поехали, я говорю. Лечиться тебе надо. Срочно».

У Тамары были гости, но, увидев нас, она их быстренько спровадила. Подкрасилась, надела супер-мини-юбку, распустила волосы. Она была донельзя сек-

сапильной. Выпили с Ильей на брудершафт, она измазала его помадой. Друг мой сразу опьянел. Она включила музыку и танцевала на ковре, поглядывая на Илью и приговаривая: «Надо же, какой большой, огромный, просто великан». Я вышел, чтобы не мешать, уснул на кухонном диванчике. Тамара разбудила меня в пять утра. «Иди». — «Куда?» — не понял я. «К нему. Он плачет». — «Что стряслось? Обидела? А вместе-то вы побывали?» — «С кем? Он от своей жены-мегеры на секунду отойти не может. Даже в мыслях. Все о ней, о ней... Она его замучила своей обширной эрудицией. И как он борется, не представляю — в комплексах от головы до ног. Хотела я придать ему в себе уверенности хоть чуть-чуть, старалась, дура, как ни с кем, а он заплакал у меня на животе, словно невинное дитя. Мне и самой хотелось плакать. И зачем ты притащил его?»

Илья, в одних трусах, сидел, как некогда в милиции, сжав голову руками, в полумраке и раскачивался. Я сел рядом. «Не могу я, — прохрипел он то ли мне, то ли Тамаре. — Не могу. Мне жить не хочется. Все ясно раньше было. Вот ковер, противник, или ты его сломаешь, или он тебя. Теперь сомнения по темечку долбят: сломаешь — ну и что? Кому теплей от этого? И что вообще изменится? Ради чего все? Смысл какой? Во всем живом ведь должен быть какой-то смысл. А впереди Олимпиада. Если золото я не беру... «Ты должен, должен олимпийским чемпионом стать, я всем ради тебя пожертвовала!» — «Да не бойся ты ее!» — «Что? Я боюсь? Максим, ты? Я же в жизни ни фига не сделал, только мускулы накачивал. И на лопатки клал. А это может и животное. Ты в зоопарке был? Гориллу видел?...»

Я смотрел по телевизору финал. В полуфинале Муромцев был дважды на ковре, «поплыл», но вырвал-таки у Хаджимурадова победу по очкам. Финал он выиграл у Фридриха Майнштейна (ФРГ) броском прогибом. Если в самбо и дзюдо десятки, сотни, тысячи приемов, то в классической борьбе их дюжина, не больше, лишь до пояса, руками, без ножных подсечек и захватов. И поэтому рассчитывать приходится на силу. Телеоператор крупным планом показал лицо Ильи в момент броска — я испугался, потому что никогда подобного не видел, я решил, что все, конец. Но

друг мой встал, помог и немцу встать. Пожали руки, обнялись. Медали, гимн, цветы. И вдруг за два дня до закрытия Олимпиады — «экспертиза обнаружила в крови у русского богатыря стероидные анаболики!»

Звонил Илье — не брали трубку. Приезжал — не открывали. Ни Самсоныч, ни другие ничего не знали. Говорили, будто он уехал из Москвы. Я написал в Елабугу — ответа не дождался. Что мне было делать? Горько, стыдно вспоминать, но опостылело, я плюнул — и своих проблем хватало.

И увиделись мы года через два в Центральных банях. Он был пьян. Рассказывал каким-то странным темным волосатым людям в простынях, как побеждал в Мадриде и Чикаго, Токио и Будапеште, а ему изпод полы все подливали, и он пил и пил, на спор, что выпьет все. «А четверть можешь?» — «Это сколько?» — «Пять бутылок». — «А закуска будет? И за сколько времени?» Я подошел. Он долго пьяно на меня глазел, не узнавая, шурился, икал. «А-а... — проревел. — Корреспондент. Здорово. Ты куда пропал-то? А? Побрезговал? Давай поспорим на червонец — выйду я пузир без рук...»

Поехали к Самсонычу на дачу. Там Илья проспался. Долго мы сидели на террасе, пили чай с вареньем из брусники, вспоминали, спорили, ругались и решили: тридцать три — не срок, Самсоныч в эти годы только становился чемпионом, надо возвращаться на ковер. «Как с институтом?» — «Бросил». — «Лилия как?» — «Прекрасно. Года полтора уже у матери живет. Лечилась. Нервы. Разводились, собиралась выйти за какого-то конференсье — но до конца не развелись». — «Ты ее любишь?» — «Сам уже не знаю. Не могу я без нее».

Казалось, все пойдет по кругу — новому. Я съездил к Лиле, в ресторане «Прага» убедил ее, что друг без друга им не быть. Отвез к Илье, оставил их, как перед первой брачной ночью. Двое суток их никто не видел. И потом он снова стал тренироваться. Отменили дисквалификацию. В Ташкенте выиграл. И в Кишиневе. После сборов перед лондонским чемпионатом мира в интервью сказал по радио, что равных в мире ему нет по силе. И пропал. Нашли с милицией его на даче у директора мясного магазина — пил запоем. «Страшно стало, понимаешь? — объяснял он мне, когда со

спортом его связывали уже лишь воспоминания.— Боязнь ковра. Стероидные анаболики — не просто так, они от страха. Я без них уже не мог. Кровь перекачивали, заливал себе мочу перед контролем...» — «А Самсоныч знал?» — «Конечно. Все он знал. А ей нужны мои победы. Больше ничего. Я сам не нужен был, ты понимаешь? Ведь я верил еще год назад, я умолял ее родить мне сына, я мечтал так, как никто... Я все бы делал сам. Она и пальца бы о палец не ударила. Но нет, сказала. Даже не надейся. Вот и все».

6

Онпил. Самсоныч пару раз вытаскивал его из вытрезвителя. Зимой на улице Вучетича Илью избили зверски — прутьями, кастетами, цепями. Пролежав в тридцатиградусный мороз в сугробе до утра, он отморозил ногу. Отняли по самое колено. Я в больнице не узнал его сперва — стал меньше ростом, сморщился весь, потемнел лицом, нос был похож на подмороженную грушу, зубы выбиты. Молчал почти все время. Улыбнулся, когда мы прощались, крепко, как и прежде, сжав мне руку. Я потом узнал, что незадолго до меня к нему в больницу приходила Лиля, обещала вечером еще зайти. Она переменилась. Будто просветлела. Нет, теперь слов не было: «Илюшеньки, единственного мальчика...» — молчала больше, погруженная в себя. Но мне сказала, что теперь уж не уйдет, нести свой крест до смерти будет. И действительно — она не отходила от Ильи. И если б знал кто, сколько сил, безмерной, яростной, клокочущей, святой энергии она истратила на то, чтоб раздобыть Илье протез, какой-то фирменный, испанский или шведский... А Илья, едва встал на ноги и научился с помощью жены ходить — захлопотал, заколготился, все твердил: «Увидите, теперь увидите, я докажу, я докажу во что бы то ни стало, что ее достоин!» Начал где-то пропадать по вечерам... Полгода меня не было в Москве. Вернувшись, я узнал, что Муромцев под следствием. «Убей, Максим, я ни черта не понимаю в этой жизни, — говорил Самсоныч; мы сидели с ним на тренировке, глядя, как мальчишки, новые его ученики, швыряют и «печатают» друг друга к матам. — Мог Илья стать чемпионом среди чемпионов всех времен! Ведь

мог бы, мог бы!! Но не стал. Что, скажешь, баба виновата? Эта маленькая... крыска?» — «Ну зачем, Самсоныч...» — «Что — зачем? Она теперь страдать решила — чтобы знали все, какая она... в жертву, мол, себя приносит... Ну а раньше-то... когда броском прогибом он весь мир мог на лопатки положить... Эх...» Рассказал Самсоныч, как Илья метался, мучился, раздобывая деньги ей на платья, на косметику, на шубу, на машину-иномарку... Начиналась перестройка. Гласность. Школьная подруга Лили вышла за кооператора-миллионера. И вообще кооператоры покоя не давали. «Люди жить умеют!» — слышалось повсюду. «Ради бога, ничего не надо, успокойся!» — умоляла Лили. Говорила всем знакомым: «Сумасшедший, что он делает, ну как мне убедить его, что ничего не нужно, не хочу, боюсь, противно!..» Но Илья, считая себя получеловеком, а ее — полубогиней, успокоиться уже не мог. Пошел «отбойщиком» — от рэкетиров, но и сам стал рэкетиром, хоть не тотчас это понял. «Отбивал», «ломил», «кидал». Купил ей норковую шубу. Видеомагнитофон. Подержанное «Вольво». И спалился. Получил четыре года — как калека.

Ранним утром в декабре мы ехали в моей машине с Лилей на Валдай, в колонию к Илье. Она молчала. Мокрый снег лепил в стекло, и «дворники» едва справлялись. Музыка играла. Я поглядывал на Лилю, импозантную, изящную, как прежде, на ее точеные колени, тонкие запястья, пальцы в кольцах, представлял Илью, с его протезом, в телогрейке лагерной, ушанке, с номером, и все казалось, что не жизнь, а фильм смотрю какой-то, весь с начала до конца надуманный. Но это был не фильм. За Клином я сказал зачем-то: «Лили. Что ж ты раньше-то, когда у вас с Ильей все было...» Колесо попало в скрытую водой колдобину, машина чуть не развалилась пополам, и я едва не угодил под самосвал, обдавший меня грязью. «В том-то все и дело, — помолчав, ответила она. — Он очень сильный был... Он даже просто не болел, как люди, он не простужался... Пломбы ни одной, ты представляешь?» — «Представляю. А тебе необходимо было, чтобы...» — «Ох, Максим», — она вздохнула, закурила. И потом, когда проехали Калинин: «Как ты думаешь, Максим. Что было бы в рассказе, — она странно улыбнулась, — в том, про персик, если бы О'Генри

продолжал его?» — «Кто знает, — я прибавил газу, обгоняя «Волгу». — Думаю, О'Генри продолжать его не стал бы».

1988

ЧТОБЫ ПОСМЕЯТЬСЯ

Несусветная стояла жара по всей стране — пожары в Сибири, пожары на Украине, в Приморье и под Москвой. О пожарах и разговоров больше всего на пляже, хотя в тени зонтов, в прохладе, под шуршание блестящей гальки, задымленные, с раскаленными стенами и топким асфальтом улицы, дымящийся торф, заглатывающий все живое и неживое, солнце с обожженными краями, сморщенное, словно фольга в огне, — все это казалось таким же далеким, как забастовка в Чили, ядерные испытания в Неваде или землетрясение в Гималаях.

«Если и есть на земле рай, то он здесь, — говорила словами высадившегося на Кубе Колумба приветливая утром Элеонора Степановна, подставляя закатным лучам белую рыхлую, в родимых пятнах спину и белые полные ноги. — Вы ничего не понимаете! Ты себе представить не можешь, что там творится — копать, духотища, все злые, как собаки, орут, толкаются в метро... Как перед концом света. Ну, ладно, бог с ними. Я здесь наконец-то. Викунь, мы года три с тобой не виделись, да? Или пять? Ты так похорошела. Клянусь! Я не узнала тебя, что, думаю, за девушка такая стройная мне улыбается? У тебя по-прежнему очаровательная улыбка». — «Да ну тебя, Элька! Ты всегда была обманщицей. Скажи лучше, этот высокий молодой человек...» — «Высокий молодой человек! — рассмеялась Эля. — Да это же Алеша, мой сын! Он в МГУ поступил, на истфак! Пошли в море».

Перед заходом солнца море было томным, ласковым, его хотелось гладить ладонями, как дорогой мех. Окуная губы в теплые волны, Элеонора говорила, что не смыкала глаз, выпила за время экзаменов ведро валерьянки, сердце чуть не остановилось и левая рука почти отнялась, блата ведь никакого, муж в экспедиции уже полгода, Атлантиду ищет и не подозревает,

что Алеша на истфак решил, он ведь мечтал, чтобы его сын тоже океанологом стал и искал бы всю жизнь эту Атлантиду, которой на самом деле не было, а у всех остальных абитуриентов на физиономиях было написано: позвоночники. Ты не представляешь, как мы с Алешкой устали! У меня глюки, полное истощение нервной системы. И не ела я почти. Ужин у вас в восемь? Мы не опоздаем?»

«А вечером что вы делаете? — спросила Эля, когда вдоль моря шли к общему пляжу, уже почти опустевшему. — А вон и мой сын. Алеша!»

Он встал и неторопливо подошел к женщинам, завязывая цветастую рубашку узлом на животе, долго-вязый, будто не свыкшийся еще со своим ростом и длинными конечностями, но уже научившийся читать в глазах женщин себе цену. «Узнаешь, Викунь?» — «Нет, не узнаю», — ответила тихо Виктория, протягивая руку, глядя Алеше в глаза, и его по-юношески решительный взгляд ожегся о расширенные, как всегда, подернувшиеся чуть заметной пеленой зрачки Виктории, он стал откашливаться, неумело маскируя смущение. «Здравствуйте, тетя Вик, — проговорил Алеша на одной металлически-басовой ноте и так сжал ей руку, что она ойкнула. — Извините», — пробасил, потупившись. «Ты мечтаешь, чтобы у тебя был бас?» — осведомилась Вика. «Зачем ему бас, — вступила Эля, — мне все мои знакомые говорят, что у него такой приятный голос по телефону. Я не говорила тебе, Викунь, он прекрасно поет под гитару, ты споешь нам, да, обещай! И он у нас спортсмен, легкая атлетика, современное пятиборье — кандидат в мастера, и каратэ занимается, у него оранжевый пояс, представляешь!» — «Мам...» — «Он все смеется надо мной, потому что я путаю. Синий, черный, красный, серо-буросиреневый в крапинку — какая разница, сыночка! Я знаю одно: ты себя в обиду не дашь. Боже мой, как хорошо здесь... Смотрите, какой закат!» — она схватила сына и Викторию за руки и обернула их к морю.

Наполовину уже скрытое водой солнце было малиновым, а небо вокруг и море — золотисто-шафранными, и необычайно отчетливо все было видно, словно сквозь увеличительное стекло, словно каждый камушек был высвечен отдельно, каждая песчинка на берегу. Заметив, что Алеша не столько на закат, сколько

украдкой смотрит на нее, Вика поспешно спрятала лицо от света. «Мы на ужин опоздаем», — сказала она и, подняв плечи, почти произвольно, по привычке ноги в сабо на высоких каблуках ставя так, чтоб крепкие шоколадные икры натягивались, как струны, пошла вперед по обсаженной розами дорожке, ведущей к корпусу.

Это будет слишком, рассуждала Виктория после ужина, стоя перед зеркалом у себя в номере и собираясь спуститься в бар. Зеленое? Скучно. Придется белое, тем более что два дня его уже не надевала и сижу на диете. Или все-таки голубое? Нет, голубое как-нибудь потом, а сейчас белое. А зачем я кремовое везла и туфли к нему? И вообще — зачем? Она приблизилась к зеркалу. Можно их назвать лучиками, паутинками в уголках глаз, но себя не обманешь, эти складки, бороздки на коже лица, тела в словаре русского языка называются морщинами, другого названия не имеют. И загар их усугубил, как ни старалась она не щуриться на солнце. Прекрасно все то, что впервые, сказал кто-то из мудрых. И вот сегодня впервые, заметив, что на нее смотрят, она спрятала лицо, хоть и не мужчина смотрел, но уже и не мальчик, и только теперь, спустя несколько часов, возник этот терпко-горький привкус, будто лопнула глубоко в душе какая-то ягода, почти перезревшая, сочная, пьянящая, быть может — ядовитая. Надену джинсы, решила Виктория. А краситься почти не буду. Только губы. И глаза чуть-чуть.

Эля сидела в баре с чашечкой кофе за столиком у стены и смотрела на танцующих. «Вика, я опять тебя не узнала, богатой будешь! — «А почему ты одна?» — «Алеша ушел. Тебе понравился мой сын?» — «Эль, не надо только говорить, что ты допускаешь, что он может кому-то не понравиться. Он кто по гороскопу?» — «Ты не меняешься, Викунь, — улыбнулась Элеонора, погладив Вику по руке. — Я соскучилась по тебе, почему ты не звонила?» — «А ты?» — «Ладно, обе хороши. Подруги. Одноклассницы. Вик...» — «Что?» — «Взять тебе кофе?» — «Сиди, я сама возьму. Попозже». — «Можно тебя попросить об одном одолжении? Я сразу, как тебя увидела... Можно?» — «Конечно». — «Обещай». — «Ну, обещаю, обещаю». — «Алешка дико

устал от экзаменов, от соревнований, от всего... И он у меня какой-то не такой, как все, ты сама, наверно, почувствовала». — «Да уж, — порхнула Вика пальцами правой руки, сжатой им, убеждаясь, что с маникюром все в порядке. — Почувствовала». — «Красавец, умница, память феноменальная, спортсмен... Но вот с девушками у него как-то — то одна, то другая, то третья, и все какие-то... Понимаешь? Сейчас вот одна... Тамара. И с ребенком уже. А он — студент МГУ, представляешь! Кандидат в мастера спорта, если Бог даст, в октябре в Грецию должен лететь на соревнования. Да и старше она на целых три года. Викунь, ты знаешь, сын для меня — все... — Элеонора виновато посмотрела школьной подруге в глаза. — Бога ради, не обижайся только, ладно? Обещаешь? Это просто так, ну... чтобы посмеяться. В шутку. Не могла бы ты как-нибудь отвлечь его, что ли? Увлечь чуточку. Ты меня понимаешь? Я бы никого, конечно, не могла об этом попросить, но с тобой мы... Я ведь знаю, тебе это ничего не стоит». — «Мне это ничего не стоит», — едва слышно проговорила Вика. «Я не то хотела сказать, ты...» — «Да я поняла тебя, Эль. Я попробую. Но не уверена, что у меня получится». — «А я абсолютно уверена, на все сто процентов! Будь я на его месте, я бы в одночасье голову от тебя потеряла! Эта Тамара из текстильного... хорек по сравнению с тобой. Хоть и в дочки тебе годится, — добавила Элеонора Степановна. — Ты заметила, как он на тебя смотрел там, на пляже? А я заметила. Я сейчас позвоню ему, и он спустится, вы потанцуете немножко, ладно?» — «Зачем так торопиться, Эль? И — что значит, чуточку увлечь? А если...» — «Не говори глупости».

На другой вечер Эля привела их в бар сразу после ужина, сели возле танцевального пятачка, полукруга, у открытой на море двери. Еще не было многочисленных знакомых, которыми Вика на курорте обрастала, словно амфора ракушками на дне моря, и которые походили друг на друга теннисной подтянутостью, контактностью, умением шутить и договариваться со швейцарами в ресторанах, а еще маниакальным стремлением проводить ежегодный заслуженный отпуск без своих законных половин. «Потанцуете? — сказала Эля, когда сын принес три кофе и запотевший графин с ледяным апельсиновым соком. — А я на вас полю-

буюсь». Виктория поднялась, вышли в центр полукруга, она положила Алеше руки на плечи и вновь увидела это молодое гибкое мускулистое тело в белом песке на пляже, где они пробыли весь день, с завтрака до ужина, и где она, да и многие женщины и девушки снова и снова обращали взгляды, скрываемые от близких лежащих мужчин, к нему, который, казалось, ничего не замечал, лежал у воды, раскинув руки, глядя в небо, или с малышами строил что-то из песка, или заплывал воздушно-легким кролем далеко за буи, и там они подолгу о чем-то разговаривали со спасателем Эдемом, сидевшим в лодке, и потом неторопливо плыл обратно брассом, выходил, копия Аполлона Бельведерского, разве что не вовсе обнаженный, а в коричневых плавках, стягивающих узкие бедра. Многожды Виктория порывалась уйти на дикий пляж, где уже некоторое лето подряд вкупе с другими женщинами вела борьбу с унижающим достоинство тела млечными полосами, остающимися от купальника, даже бикини, но так и не смогла уйти, и Элю туда не отпустила; играли в пероводного дурака, хохотали, слушая анекдоты, посменно рассказываемые знакомыми Вики, фотографировались, ели виноград и арбуз, привезенный Эдемом, катались на моторной лодке под названием «Жучка», видели сверкающие на солнце медные спины дельфинов, после чего Алеша учил Викторию плавать баттерфляем, но безуспешно.

Так прошло несколько дней, и они снова вышли в центр танцевального пятачка, и она привычно уже положила ему руки на широкие мускулистые плечи, но бармен Зурик сменил кассету и на полную громкость врубил рок-н-ролл, который Виктория танцевала последний раз, когда была ровесницей Алеше, и вот опять все возвращается, особенно в женской судьбе — поначалу она уверена была, что не получится, тело не слушалось, поскользнувшись в развороте, она непременно бы опрокинулась навзничь, не подхвати ее в последнее мгновение, перед самым полом юный партнер сильными своими руками, но спустя несколько минут уже такое было впечатление, особенно у тех, кто только приехал на Мыс, пришел в бар и прежде их с Алешей не видел, что эта пара отдыхает после международного танцевального конкурса, победителями которого стала,— так казалось ей, когда они

вновь и вновь выходили и с первых же тактов подстраивались друг под друга, попадали в единый такт, и по ее команде он выставлял вперед колено, а она, перевернувшись два, три раза, садилась на него, вскидывая к потолку вытянутые ноги, или пролетала между его ногами и тут же оказывалась у него на спине, перехватив руки, он перебрасывал ее через себя, и она снова отталкивалась от его колена и взлетала, теряя из виду в безумных этих пробросах и переворотах все на свете, забывая о земном притяжении, и действительно однажды вспорхнула, полетела, но до этого были аплодисменты после каждого танца, после каждого па, были розы, которые ставил кто-то каждое утро в вазу на ее стол и вечерами бросал с неба на балкон... До этого было многое, но запомнился средневековый православный храм с витражами в закатных лучах, и органный музыка, и небесной чистоты голос, возносящийся под купол, итальянский, латынь или какой-то иной язык, она все понимала, потому что пели о ней, для нее, как для нее всходило солнце над морем и плескались у берега прозрачные мягкие волны. Возле скалы «Прощай, Родина», куда они поехали со спасателем Эдемом, Алеша учил ее стрелять из подводного ружья; надев маску и взяв в рот трубку, она плавала, к ней заглядывали рыбы, большие и маленькие, с длинными шелковистыми плавниками, и она так и не выстрелила, а ружье выронила, замечтавшись о детстве, и Эдем с трудом потом разыскал его под скалой. И был праздник Нептуна, которого изображал Эдем, а ее нарядили любимой русалкой, дочкой Нептуна, и фотографировали со всех сторон без конца, и дрались за нее на мечях, перетягивали канат, бросали всех в воду, а вечером ели из огромного чана уху деревянными ложками, и тут выяснилось, что самым достойным руки дочери морского царя признан он, Алеша, и возликовавший Эдем (наверняка приложивший к решению жюри свою волосатую руку) повез их вместе с русалками, пиратами и чертями к себе в горы, откуда они выбрались лишь к вечеру на следующий день, нагруженные грецкими орехами, инжиром, фейхоа, айвой, маджари, чачей, перцем и аджикой, которую готовит мать Эдема, тетя Ева, а лучше ее не готовит никто на всем побережье.

.

«Только о вас и говорят. Как будто и говорить больше не о чем. Слава Богу, никто не знает еще, сколько тебе лет». — «А сколько мне лет, Эленька?» — «Вы куда вчера после всего исчезли? Я искала вас». — «Гляди, чайка». — «Гляжу... Вы где были вчера вечером? Вика, не сходи с ума, прошу. Ему же учиться и вообще». — «Хорошо я загорела?» — «Загар потрясающий. Но не сходи с ума». — «Давай каждый день на дикий пляж ходить». — «Я боюсь, что он придет к тебе сюда. Он тебя видел... вот так, без всего? Скажи мне, я все-таки мать как-никак». — «Как-никак, — Виктория рассмеялась, переворачиваясь на спину и вытягивая ноги, вдруг погрузилась, снова заулыбалась, взглянув на море с одиноким парусом. — Хочешь, на мостик встану?» — Вика выгнулась и встала на мостик. «Ты действительно еще совсем девчонка, — сказала школьная подруга. — И стихи, наверное, по-прежнему пишешь, да? Завидую я тебе. Ни забот, ни хлопот. Я слышала, ты и с член-корром своим развелась уже? Который он по счету? Ну, ладно, ладно, не будем... Знаешь, деньги только на обратные билеты у меня остались. Все выцганил тебе на розы». — «И ты хочешь, чтобы я вернула?» — «Дура ты, Викунь. Но не сходи с ума, я умоляю!»

Солнце зависало над морем, пустели кабинки и лежаки на «цивильном», как его называли, пляже, под лежаками оставались разорванные целлофановые пакеты, персиковые косточки, вываленные в песок, крышки от бутылок... Нагромождения облаков вспыхивали, будто облитые бензином, прогорали насквозь, и солнце — объятый пламенем сказочный корабль, погружалось в воду, долгожданные влюбленными романтиками сумерки поначалу как бы сдержанно, но тотчас и забыв стыд, откидывались, и под черной, испещренной звездами и мерцающими на горизонте огоньками цыганской юбкой бушевала курортная ночь, с песней сезона «Яблоки на волнах», которую пели всюду и на разные мотивы, с цикадами, шелестом, шепотом, дыханием, с огромной луной и лунной дорожкой, по которой так хорошо плыть, плыть, а потом сидеть на лежаке, накинув на влажное тело махровый халат, и слушать, как накатывают волны, теплые, фосфоресцирующие, и отползают, увлекая за собой переливающуюся в лунном свете гальку, которая потрескивает, пощелкивает

и замирает до новой волны, и слушать шепот, и шептать, чтобы шепот переливался из уст в уста. «Ну почему почему потому что ты еще маленький и глупый ты так и будешь называть меня «тетей» да какие у вас соленые губы скажи мне «ты» иначе я обижусь слышишь противный мальчишка если ты сейчас же не скажешь мне «ты» пожалуйста какие у тебя соленые губы а еще какие еще нежные а что ты подумал когда меня увидел я совсем с тобой рехнулась ты знаешь об этом а кто тебя учил целоваться развратный мальчишка если я узнаю что ну иди ко мне ближе как ты думаешь те огоньки это что ты маме все о себе рассказываешь да она уверена что все обо мне знает наивная только я о тебе все знаю да потому что ты мой ну обними скорей покрепче согрей боже какая пошлость я совсем голову потеряла разбойник мой ты мечтал когда-нибудь о том что вот так будешь сидеть на берегу ночного моря с такой женщиной нет ну почему потому что потому оканчивается на «у» глупыш нельзя нам последнюю черту переступать пойми».

.....
«Приезжает». — «Кто?» — «Тамара. Он комнату для нее снял в поселке». После ужина, надев голубое платье с разрезом, тяжелые серьги, накрашившись, Виктория спустилась в бар. Его там не было. Она выпила чашку кофе, улыбнулась бармену Зурабу, кому-то из знакомых что-то ответила и вышла в насыщенную запахами моря и роз темноту. В баре заиграл рок-н-ролл. Светлые камушки шуршали, скрежетали мерзко под ногами, на каблуках идти было трудно. Не доходя до беседки, она свернула в заросли тростника, к полянке, на которой они нашли с Эдемом и Алешей подраненную чайку. На бревне у кострища сидела пара. «Ну что ты, глупая? Да мало ли что скажут... Она в одном классе с матерью училась, просто сохранилась лучше, но ты приглядишься к ней на пляже, она там почти без косметики. Ну, дурочка, нашла, к кому ревновать. Она даже и не бальзаковского возраста. Просто маман, так сказать, попросила об одолжении — несчастная, говорит, бабенка, все у нее в жизни наперекосяк...»

Но через два дня Тамара, зеленоглазая, с распушенными по худеньким плечам жидкими бесцветными волосами, в джинсах и маечке, с большим чемоданом

стояла на автобусной остановке, откуда шли автобусы в аэропорт, и Алеша не провожал ее, потому что был в то время в море, на Косе, с Эдемом, Викторией и двумя ее пожилыми — под сорок — почитателями-теннисистами, Геннадием и Нифонтом, не переставая острившими и каламбурированными, — ловили ставриду и роз-мариннок, ныряли, ходили на руках, засыпали друг друга белым песком, закусывали и выпивали, спорили о Конфуции и Сенеке, об ассирийцах и бушменах и о том, близок ли конец света, и за весь день ни разу даже вскользь Виктория на Алешу не взглянула. Вечером поднялся ветер, заштормило, поехали к родителям Эдема в горы. Эдем приветствовал друзей, мчавшихся навстречу, — когда между машинами оставалось не больше десяти метров, они вдруг менялись местами и каждый проносился по полосе встречного, а о том, что будет, если кто-нибудь из друзей замешкает на долю секунды или не сразу признает машину друга в общем потоке, лучше было не думать, а пить молодое вино из горлышка, хохотать, петь, каламбурить, и отец Эдема, Адам Янкович, угощал вином, мутноватым, терпким, голову до времени оставляющим в покое, а с ног сшибающим, и никто уж точно не скажет, с чего началось, возможно, со смеха Виктории или с ее «мальчик, передай нам, пожалуйста, лобно», обращенного к Алеше, а закончилось тем, что, когда Эдем начал менять во дворе тормозные колодки на своих «Жигулях», Элеонора в зале рассказывала Геннадию, каким ангелочком родился ее сын, с золотыми кудрявыми волосиками, с большущими голубыми глазками, Вика на балконе шепталась и целовалась с Нифонтом, Алеша запрыгнул в «уазик» Адама Янковича и помчался по ухабистому проселку, Элеонора дико закричала, выбежав на дорогу, чтобы догнали, спасли ради Бога единственного ее мальчика, Эдем, кое-как привернув колесо, бросился в погоню, на шоссе догнал, но остановить «уазик», несущийся в непроглядной тьме к гибели — повороту над скалой «Прощай, Родина», — было невозможно, обогнав его по обочине, едва не перевернувшись, Эдем сумел бы и затормозить в последний момент, если бы не стесавшиеся тормозные колодки, — через акации и заросли самшита «Жигули» вылетели с шоссе в пропасть, на дне которой рычало, извивалось между валунами море.

Содержание

Повесть

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК	3
---------------------------	---

Рассказы

ОН ВЕРНУЛСЯ	99
ИЛЬЯ МУРОМЦЕВ	118
ЧТОБЫ ПОСМЕЯТЬСЯ	136

Сергей Алексеевич Марков

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Заведующая редакцией *С. Митрохина*

Редактор *Н. Архипова*

Художник *В. Еремин*

Художественный редактор *В. Горин*

Технический редактор *М. Гречнева*

Корректоры *Т. Сёмочкина, Л. Царская*

ИБ № 4698

Сдано в набор 13.03.90. Подписано к печати 15.08.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага
офсетная № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 7,56. Усл.
кр.-отт. 7,98. Уч.-изд. л. 7,59. Тираж 15 000 экз. Заказ 691. Цена 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854,
ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 6.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Моск., И-473,
Краснопролетарская, 16